



НОВЕЛЛА
МАТВЕЕВА



Н М НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

ИЗБРАННОЕ



НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

ИЗБРАННОЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ



МОСКВА
• ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА •
1986

P2
M33

Вступительная статья
СЕРГЕЯ ЧУПРИНИНА

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

М $\frac{4702010200-121}{028(01)-86}$ 72-86

© Вступительная статья. Оформление.
Издательство «Художественная
литература», 1986 г.

«РЕСПУБЛИКА ГРЕЗ» НОВЕЛЛЫ МАТВЕЕВОЙ

С автором этой книги произошло то, о чем очень любят судачить, слагать легенды, но что, по правде сказать, на самом деле чрезвычайно редко случается в искусстве.

Первого ноября 1959 года, когда «Комсомольская правда» напечатала ее первую — и огромную! — стихотворную подборку, Новелла Матвеева поистине проснулась знаменитой. Ее имя быстро облетело широчайшие круги любителей поэзии. Вокруг газетно-журнальных публикаций поэта, а затем и первых тоненьких книжек «Лирика» (1961), «Кораблик» (1963) в критике вспыхнули жаркие и по сей день не вполне завершившиеся споры. На молодого автора, к тому времени успевшего появиться со стихами лишь в газетах Калмыкии и Чукотки, не вдруг, но вскоре обратили заинтересованное внимание такие авторитеты, как Твардовский, Маршак, Слуцкий, Щипачев. А когда — опять же вскоре — выяснилось, что Новелла Матвеева не просто пишет резко не похожие на чьи бы то ни было стихи, но еще и песни, исполняемые ею под гитару, за поэтом прочно закрепилась слава одного из наиболее своеобразных и артистически многогранных современных лириков.

К моменту своего счастливого дебюта двадцатипятилетний автор успел узнать цену и человеческим страданиям, и тяжкому сельскому труду, и умению преодолевать болезни, безденежье, неверие в собственные силы. Жизнь Новеллы Матвеевой началась в овечьем именем Пушкина Царском Селе, а трудное, как у многих, детство протекало в ближнем Подмоскowie. Что же касается духовной биографии поэта, то она, по-видимому, началась с чтения самобытных, хотя, к сожалению, и оставшихся в большинстве своем неопубликованными стихов матери, Надежды Тимофеевны,

с разговоров об истории и искусстве с отцом, опытным лектором и краеведом Николаем Николаевичем, со знакомства с навсегда запавшими в память произведениями Достоевского, Диккенса, Ростана, Фета, Гейне, Грина, Исаакяна, Лонгфелло... Наблюдения за жизнью природы и драматическими судьбами близких будущему поэту людей сплавлялись с чисто книжными грезами, житейские импульсы побуждали к работе беспокойную мысль и богатое воображение, непросто дававшиеся знания проверялись естественной свежестью мировосприятия...— И все это шло в стихи, поначалу робкие, подростково неуклюжие, затем более уверенные и, наконец, свободные, как дыхание.

Именно эти качества — абсолютная свобода самовыражения, эмоциональная раскованность, прихотливая гибкость интонации и непринужденность каждого внутристихового «жеста» — в гораздо большей степени роднят Матвееву с другими поэтами ее поколения, чем, скажем, известная близость биографического опыта или общность тематики и стиля.

Впрочем, об общности тематики и, уж тем более, стиля, кажется, и вообще говорить в данном случае рискованно. Отдав неизбежную, но весьма незначительную по объему и существу дань общераспространенным настроениям и проблемам той поры, ее специфическому «молодежному» языку и побыв благодаря этому некоторое время в столь любимых критиками «обоймах» и «когортах», Матвеева очень скоро заняла в литературе и читательском сознании собственное, не зависимое от каких бы то ни было «обойм» и «школ» место.

Так всегда бывает с подлинными поэтами, рано нащупавшими свой содержательно-смысловой и художественный диапазон, вовремя обнаружившими в себе голос, аналога которому в литературе нет и быть не может.

У меня и слова и поступки — свои:
Виновата! — чужих не беру,—

внятно сказано в стихах об этом изначальном свойстве самородной поэзии, и действительно, уже в первых публикациях и изданиях Новеллы Матвеевой были пунктирно намечены те очертания «республики грез», «страны поэта», которые станут столь очевидными в зрелых книгах «Душа вещей» (1966), «Ласточкина школа» (1973), «Река» (1978), «Закон песен» и «Страна прибора» (обе — 1983).

Заставы на пути в эту «страну поэта» наглухо закрыты как перед обывателями-прагматиками, ценящими сапоги выше Шекспира, низводящими даже радугу или звездное небо на роль декорации, так и перед чрезмерно здоровыми, критиканствующими умами, для которых та же радуга есть не более чем иллюстрация

к школьному учебнику физики. В распознавании этих постоянных своих антиподов Матвеева на удивление проникательна: никакая мимикрия, никакое переодевание в модный чайльд-гарольдов плащ или в тогу сверхчеловека не спасет мещанина от инвектив и обличений, на которые Матвеева большой мастер.

Мой стих! При виде нас зойл опять в печали!
Он нам не разрешал шагать таким путем!
Но как бы он ни ждал, чтоб мы с тобой пропали,
Мы *даже для него* на это не пойдем.
Я в «книжности» вчера считалась виновата,
А нынче говорят, что я «витиевата»,
В чем завтра провинюсь? А послезавтра — в чем?

Так — и с годами все бескомпромисснее, даже, может быть, безапелляционнее — срабатывает «защитная гордость художника». Но, говоря о полемической заостренности многих строк и строф Новеллы Матвеевой, не упустить бы нам из виду более существенное — ту радостную, немного смущенную доверчивость, то просто-душие знающей себе меру силы, с какими автор встречает всех, кто мечтает с посошком и котомкою исходить «республику грез» вдоль и поперек, всех, кто готов чувствовать и понимать мир по ее «закону песен»...

Узнавание здесь мгновенное — «мы одной крови, ты и я», а приязнь взаимная. Был бы только у читателя и поэта один багаж духовно-культурных, так называемых «книжных», ассоциаций — от «мятежного» Лермонтова до «экспансивного» Ростана, от «сентиментального» Диккенса до «чародейничающего» Грина... Была бы только одна на двоих с поэтом вера в то, что, как гваривал еще лукавец О. Генри, «Фантазия — почти единственный данный искусству способ говорить правду»... Были бы только сохраненными в читательской душе и характере детская чистота восприятия, отроческая прямота суждений, юношеское бесстрашие в отстаивании своего кодекса чести...

О кодексе чести сказано тут в последнюю очередь, но в нем-то все и дело.

Объяснимся, но начнем вроде бы издалёка. Новеллу Матвееву принято называть романтиком, и она, действительно, как мало кто в современной лирике, привержена к традиционному словарю и высокому строю речи романтической поэзии, как опять же мало кто, безудержна в фантазерстве, в отважном и веселом преобразении реальности на новый лад, когда небывшее и несбывшееся обретают авторитет и вес неоспоримой подлинности, а сквозь будничное, бытовое, как сквозь дырявую крышу, просвечивает бытийственное, переводящее самое зауядное, казалось бы, житейское впечатление в разряд сокровенно духовного переживания. Легкий, едва-едва

заметный сдвиг смысла, точное, в полкасаания подключение общекультурных ассоциаций — и вот уже в привычном среднерусском пейзаже прорисовывается дальний — чисто «матвеевский» — план:

На рассвете, в сумерках ледовых,
Хор берез был выше и туманней.
И стояла роща, как Людовик,
В сизых буклях изморози ранней,—

а привычная глазу картина начинает напоминать нечто нездешнее, в высшей степени экзотическое:

Белые, душистые, во мглу
Поднимаются из трав, из тмина,
По венецианскому стеклу
Лунной ночи — пузырьки жасмина.
Зной. Не выступая из границ,
Тень стоит посольством папуасов.
И жасмин — на дне их черных лиц —
Как белки катающихся глаз их.

Красиво сказано? Красиво. Романтично? Безусловно. «Книжно»? А тут надо заметить, что упреки в излишней, избыточной «книжности» преследуют Матвееву на протяжении вот уже четверти века, поэтому и на них ответить необходимо? Наверное, да...

На этом «наверное, да» многие критики Матвеевой обычно останавливаются. А напрасно, поскольку гораздо интереснее было бы спросить, зачем, с какой целью так демонстративно «книжен» поэт, какова сверхзадача этого и впрямь характерного для него сближения «далековатых» понятий, этого последовательного соотношения общедоступно-наглядного, «вещественного», встречающегося на каждом шагу с бесплотнотуманной, едва ли не иллюзорной символикой?

Первый ответ, кажется, ясен: определяя знакомое через неизвестное или полузабывшееся, Матвеева надеется встряхнуть дремлющее читательское сознание, перекрыть стереотипные ходы мысли и уже тем самым освежить восприятие читателя, навести его на счастливую догадку о том, что березка, к примеру, не только растение и не только классическая аллегория непорочности, но еще и просто чудо, данное нам в непосредственном ощущении, чудо, всякая встреча с которым есть дар судьбы.

Напрашивается и второй, тоже правильный и тоже важный ответ: возбуждая в читательской памяти ток общекультурных ассоциаций, поэт стремится уравнивать в правах, охватить единым лирическим переживанием и рощицу и Людовика, и историческое предание и нынешний день, и природу и культуру.

Я «...знаю: книга — жизненный исток. Пресс Гутенберга — жизненная сила», — упрямо возражает Матвеева тем, кто хотел бы довести накал спора «о книжности» и «жизненности» до 451° по Фаренгейту, когда, как известно, горят книги, а вместе с ними горит культура, впредсоставившая в себя многовековой опыт нации и человечества. Книга понимается здесь уже не только как магический кристалл, сквозь который виднее и яснее мир, но и как своего рода сгусток, квинтэссенция бытия:

Живой да будет каждая строка!
Из жизни черпай злато размышлений!
Но жизнь — помилуй! — разве так ярка
И так сильна, как выраженный гений!

Не хмурь многозначительно бровей,
Не покрывайся складками страданий!
Всего полней (не спорь!), всего живей
Жизнь гения и жизнь его созданий.

Крайность, азартный переклест в полемике? Быть может. Но романтики не выбирают золотых середин и сбалансированных формулировок. Они — всегда в атаке, всегда — с рапирю в руке, и поэт, отстаивающий единство мира, его нерасчленимость на дух и плоть, на рукотворное и нерукотворное, на фарс и трагедию, призывает себе на помощь Пушкина, чья жизнь и чье творчество есть для Матвеевой нетускнеющий синоним бытийственной полноты и праздничности:

...Избушка и... Вольтер! Казак и... nereida
Лишь легкой створкой здесь разделены для вида;
Кого-чего тут нет!.. Свирель из тростника —

И вьюг полнощных рев; средневековый патер,
Золотокудрый Феб, коллежский регистратор,
Экспромт из Бомарше и — песня ямщика.

Так (и тут мы наконец возвращаемся к наиболее существенному, о чем уже предупреждалось, вопросу о романтическом кодексе чести поэта) искусство, поэзия принимают на себя ответственнейшую из ответственных миссию быть примером и вечным образцом нравственного самоопределения, нравственного поведения личности.

Романтизм Матвеевой немного бы, наверное, стоил и успел бы, я думаю, наскучить читателям, если бы за романтическими аксессуарами, фразеологией, бурным фантазерством, системой стилевых примет не просматривалось главное — романтический идеал человека, тот редкий по нынешним временам тип личности, который внутренне сориентирован на пушкинских цыган, лермонтовских

богоотступников, скитальцев Грина, лирических героев поэзии Блока и Цветаевой, Байрона и Киплинга. Матвеева — и это очень важно подчеркнуть — не только постоянно сверяет жизнь с собственным идеалом. Никак не меньшую роль в ее своде ценностей играет еще и настойчивое, тревожное и тревожащее соотнесение собственного идеала с тем эталонным представлением о человеке и человечности, что запечатлено в бессмертных творениях искусства, что завещано нам русской и мировой романтической классикой.

Характерно при этом, что Матвеева, необыкновенно щедрая на реминисценции, окликивания великих имен, в огромном фонде мировой литературы отбирает почти исключительно те книги, которые с веками и десятилетиями стали предметом детского, подросткового чтения. Причуда личного вкуса? Не только. И не столько, ибо в книгах про Ланцелота или Тома Сойера, Ассоль или Робин Гуда силы добра и зла, красоты и безобразия поляризованы с гораздо большей картинностью, а нравственный, воспитующий заряд выражен с гораздо большей непосредственностью и однозначностью, чем, скажем, у Шекспира или Толстого, Фолкнера или Булгакова.

Сужает ли это ограничение духовного мирообъема возможности поэта? На мой взгляд, отчасти сужает. Но и оставляет достаточно многое — достаточно, во всяком случае, для того, чтобы у Матвеевой определился собственный, на иные не похожий угол зрения на историю, культуру и заботы современного человечества:

...Была ли щель, через которую
Могла пойти в другую сторону
Вода истории? Не знаю...
Но часто Нэtti вспоминаю.
Того, чьи странствия чудесные,
Слова прямые, мысли честные
Показывают непреложно,
Что людям быть людьми — возможно.

Да, именно утверждению истины о том, что человек всегда и всюду, во всех испытаниях должен и, главное, может остаться Человеком в высоком, романтическом смысле слова, служит по преимуществу и муза Новеллы Матвеевой. В неразъемный гражданский и творческий узел стягиваются стихи и поэмы, выступления с песнями в концертных программах вместе с таким своеобразным поэтом, как Иван Киуру, пьеса «Предсказание Эгля» по мотивам гриновских «Алых парусов», с успехом идущая ныне на сцене Центрального Детского театра, работа над прозой, переводческая деятельность, острые, хотя, к сожалению, и не частые реплики в печати по поводу актуальных вопросов жизни, искусства, поэзии, песенного жанра.

И все же, несмотря на многообразие забот профессионального литератора, Новелла Матвеева — прежде всего поэт, лирик, точно чувствующий пульсацию сегодняшней реальности, с тревогой и болью размышляющий в стихах о возможности термоядерного самоубийства человечества, настойчиво противопоставляющий прочные ценности гуманизма модным нынче толкам об относительности моральных критериев, нравственной «амбивалентности», когда гений меняется маскою с глупцом, добродетель рядится в одежды порока, а уродство притворяется красотой...

Здесь — в отстаивании своего символа веры — Матвеева не стесняется быть категоричной, даже на чей-то вкус, возможно, и прямолинейной:

Все едино? Нет, не все едино.
Пламя, например, отнюдь не льдина.
Плут о благе ближних не радетель.
А насилие не добродетель.
 Все едино? Нет, не все едино:
 Ум — не глупость. Край — не середина.
 Столб фонарный веселей простого.
 Пушкин одареннее Хвостова...
...Все едино? Нет, не все едино:
В рощах нет повторного листочка!
Потому что, если «все едино»,
Значит — «все дозволено». И точка.

И, заражаясь этой святой неуспокоенностью мастера, невольно думаешь: не затем ли и поэзия существует, чтоб не допустить смешения, смещения базовых нравственных ценностей в сознании и поведении современников, чтоб неустанно напоминать людям о самых простых и, следственно, самых главных истинах?

Не затем ли и культура, чтоб человек, приобщающийся к ней, проходил строгую, дисциплинирующую школу подлинной духовности, научаясь в итоге безошибочному различению добра и зла, ханжества и целомудрия, чести и бесчестия?

Поэт Новелла Матвеева в этом, во всяком случае, не сомневается ни на йоту. Твердо выявив свое понимание задач стиха:

Когда потеряют значение слова и предметы,
На землю, для их обновленья, приходят поэты,
Их тоска над разгадкой скверных, проклятых вопросов —
Это каторжный труд суеверных старинных матросов,
 Спасających старую шхуну Земли,—

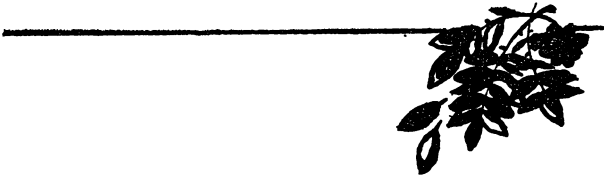
Матвеева ни разу и ни в чем от него не отступила. Да и может ли быть задача благороднее, чем стоять на страже незыблемых, испытанных столетиями понятий о человеке и человечности и не «пересмыслять» их (отнюдь!) применительно к ситуации или нуждам

текущего момента, а «всего лишь» обновлять, очищать от налипших на них грязи и жировых пятен, возвращать им, этим понятиям, первозданную свежесть? И в высшей степени характерно то, что слова «свежий» и «свежесть» выходят на самый первый план в частотном словаре новых книг Новеллы Матвеевой, и оказывается, что «труд вдохновения» есть по преимуществу и прежде всего труд по охране и воскрешению подлинной свежести, чистоты, благородства и в отношении человека к миру, и в отношениях между людьми.

Сергей Чупринин

*Поэту
ИВАНУ КИУРУ*

СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ





ЛИРИКА

1957—1959

НАШ ГЕРБ

НА ЗАПУСК РАКЕТЫ
С СОВЕТСКИМ ВЫМПЕЛОМ НА ЛУНУ

Земной рабочий молот
Упал на лунный серп.
Какие силы могут
Разрушить этот герб?!

НОЧЬ НА 14 СЕНТЯБРЯ 1959 ГОДА

Луна за облаком.
Она не ждет визита.
Но серым пламенем изрытый небосвод
Сквозит гигантскими прожилками гранита,
Как будто стройка там беззвучная идет.
Куранты бьют...
Шипенье в промежутках,
Как бы кипит горящая смола...
Удар!
Минутка — легкая малютка —
Эпоху за собою повела.
Удар...
Луна взята.
Еще со Спасской башни
Сползают отзвуки дрожащей пеленой...
Какие пропасти!
Между Луной вчерашней
И нынешней Луной.

* * *

Завидую далеким временам,
Когда сонет мешал болтать поэтам.
А почему бы, думаю, и нам
Язык не укорачивать сонетом?

Нужна узда горячим скакунам,
Обложка — книгам, рама всем портретам,
Плотина — разогнавшимся волнам,
Сонет — разговорившимся поэтам.

Сонет благожелательно жесток:
Он не допустит, чтоб залезли мысли
За край листа и бахромой повисли.
Он говорит: «Вот финиш мысли. Стоп!»

А чью тираду он *врасплох* обрубит,—
Уж тот не мастер. Он таких не любит!

РЕМБРАНДТ

Он умер в Голландии, холодом моря повитой.
Оборванный бог, нищий гений.
Он умер
И дивную тайну унес нераскрытой.
Он был королем светотени.

Бессмертную кисть,
Точно жезл королевский, держал он
Над царством мечты негасимой
Той самой рукою,
Что старческой дрожью дрожала,
Когда подаянья просил он.

Закутанный в тряпки,
 бродил он окраиной смутной
У дворигов заиндевелых.
Ладонь исполина он лодочкой складывал утлой
И зябко подсчитывал мелочь.

Считал ли он то, сколько сам человечеству отдал?
Не столько ему подавали!
Король светотени —
Он все ж оставался голодным,
Когда королем его звали.

Когда же, отпетый отпетыми, низший из низших,
Упал он с последней ступени,
Его схоронили

(с оглядкой!)

на кладбище нищих.

Его — короля светотени!

...Пылится палитра.

Паук на рембрандтовской раме

В кругу паутины распластан.

На кладбище нищих.

В старинном седом Амстердаме

Лежит император контрастов.

С порывами ветра проносится иней печально,
Туманятся кровли и шпили...
Бьет море в плотины...
Не скоро откроется тайна,
Уснувшая в нищей могиле!

Но скоро в потемки

сквозь вычурный щит паутины

Весны дуновенье прорвется:

Какие для славы откроются миру картины

В лучах нидерландского солнца!

И юный художник,

взволнованный звонкой молвою,

И старый прославленный гений

На кладбище нищих

С поникшей придут головою

Почтить короля светотени.

А тень от него никогда не отступит.

Хоть часто

Он свет перемешивал с нею.

И мастер контраста — увы! — не увидит контраста
Меж смертью и славой своею.

Всемирная слава пылает над кладбищем нищих:
Там тень, но и солнце не там ли?
Но тише!

Он спит.

И на ощупь художники ищут
Ключи неразгаданной тайны.

МЕРА ЗА МЕРУ

(Из прошлого Чукотки)

Идет пурга слепыми облаками
В безлюдные и людные места...
Заносит снег лукавые капканы;
Рука ловца ласкает мех песка.
 С улыбкою ловец переливает
 Царька зверьков с ладони на ладонь,
 С него снежипки бережно сдувает,
 Как будто дует в бархатный огонь.
Но берегись, ловец, поймавший зверя!
И на тебя расставлены силки:
Сейчас капканы и факторий двери
Захлопываются вперегонки.
 Торгуют очукоченные денди
 В седой избе у крепкого стола.
 Сквозь рев пурги чудовищные деньги
 Звонят им в уши, как колокола.
Торгуют денди,
Взвешивают,
Курят,
Из поднятых глядят воротников...
Табачный дым
Большой звериной шкурой
Ползет по шкуркам дымчатых зверьков.
 Дверь настезь —
 И, в мехах до подбородка,
 Вошел бесшумный северный герой.
 Охотник, воплощенная Чукотка,
 Повитая легендой и пургой.

Его добыча искрится роскошно,
Как бы в налете дымного стекла,
Но из-под меха смотрит он тревожно,
Испуганно,
Как белка из дупла.
 Пред ним купец.
 О! Тонкий иностранец!
 Еще не глядя, видит он уже.
 В зубах сигара,
 Словно чей-то палец,
 Откушенный в последнем грабеже.

Но вот глаза
С прицелом револьвера
В глаза пришельца глянули в упор:
«Купи ружье. Но чур — за меру мера.
Дороже денег честный уговор».

 История выводит без помарки,
 Как торговали «честные» купцы:
 Во всю длину ружья
 Известной марки
 Ложатся в ряд чукотские песцы.

Когда зверьков лощеная полоска
Длину ружья отмерила длиной,
Сказал торговец

 весело и жестко:

«Песцы мои, зато винчестер — твой.
 Такой винчестер — штука недурная.
 Танцуй, бездельник! — дешево достал.
 И сколько ж настреляет он, стреляя,
 Коль, не стреляя, столько настрелял!»

И шкуродер подмигивает шкуркам,
Что на полу положены рядком.

И потчует охотника окурком

И крестит (по-английски) дураком.

 Американцам приглянулась шутка:

 «Ты, Джонни, снайпер —

 бьешь наверняка».

 И ржание — апофеоз рассудка! —

 Поколебало балки потолка.

Охотник-чукча топчется на месте:

Его смутил американский смех.

И смотрит он с тревогой

 на винчестер

И с робким сожалением — на мех.

А янки спохватился
И сердито
Кивнул на дверь надменной

головой:

«Валяй, валяй! Фактория закрыта.
Песцы мои, зато винчестер — твой».

Ушел, но оглянулся напряженно
Охотник на торговца из дверей,
И был тот взор под мехом

капюшона

Оленьего копыта тяжелей.

Но что тот взор обратному Колумбу!

Он думает: «Добыча неплоха!» —

И пальцами выстукивает румбу,

Разглядывая влажные меха.

И в ритме румбы,

Только что ограбя,

Рука с кольцом от Мери дорогой

Похожа на танцующего краба,

На краба с окольцованной ногой.

* * *

Охотское море волною гремит.
Бросками — проносятся чайки.
Вулкан-великан в отдаленье
дымит,

Хвалу воскуряя
Камчатке.

Бренча,
Откатилась от крупных камней
Пятнистая галька пугливо:
Во всю ширину развернулся
над ней
Оскаленный гребень прилива.

Сейчас
За скалой
Закричит пароход,
Стремительный,
С белой каймою,
И, вздрогнув,
Жующий олень повернет
Крылатую голову
К морю.

ПАМЯТИ ПРИШВИНА

Растает ли снег?
Развернется ли ландыш весною?
О чем соловьи запоют на заре без него?
Ходил он один, а умел рассыпаться
Толпою;
На все наши дебри хватало его одного!
Любил он природу: сносил ее козни,
насмешки,
Трясину месил и укусы прощал комарам.
Пил чай с муравьями
и с острым дождем вперемешку,
Давился туманом
и кланялся мокрым грибам.
По-прежнему ветер пройдет по дорогам
весною
И в глину проталин тревожно
Просыплются иглы сосны.
Но больше не выйдет он с книжкой своей
записною —
Разносчик мечты
и седой проповедник весны.

Растает ли снег?
Расцветет ли подснежник весною?
О чем соловей запоет на заре без него?
Ходил он один, а умел рассыпаться
Толпою;
На все наши дебри хватало его одного!

Кто лгал завзято?
Кто — не разобрал?
Архив на страже.
Тихо вправит вывих
Истории достойный костоправ.

В нутро породы, заспанной и мрачной,
Вонзает он исследования лом
И делает историю прозрачной,
Чтоб разглядеть грядущее в былом.

ПЕСНЯ

I

Как сложилась песня у меня?
И сама не знаю, что сказать!
Я сама стараюсь
У огня
По частям снежинку разобрать!

II

МУЗЫКА

Вы объяснили музыку словами.
Но, видно, ей не надобны слова —
Не то она, соперничая с вами,
Словами изъяснялась бы сама.
И никогда (для точности в науке)
Не тратила бы времени на звуки.

III

НАТЮРМОРТ

Отстала ягода от кисти винограда;
Дрожит на кончике — всех меньше и темней...
Но презирать ее, по-моему, не надо:
Наоборот! — Цена картины —
В ней.

ГИМН ПЕРЦУ

Раскаленного перца стручок,
Щедрой почвы ликующий крик,
Ты, наверное, землю прожег,
Из которой чертенком возник.

Страны солнца, взлелеяв тебя,
Проперчились до самых границ,
Пуще пороха сыплют тебя
Там из перечниц-пороховниц.

Орден кухни,
Герб кладовых,
Южных блюд огнедышащий флаг —
Ты на полках,
На пестрых столах,
В пыльных лавках —
Особенно в них.

И представишь ли темный навес,
Где серьюю трясет продавец,
Коли там не висят у дверей
Связки перца, как связки ключей
От запальчивых южных сердец?

Я хвалю тебя! Ты молодец!
Ты садишься на все корабли,
Ты по радужной карте земли
Расползаешься дымным пятном;
Ты проходишь, как радостный гном,
По извилистым теплым путям,
Сдвинув на ухо свой колпачок.
И на север являешься к нам,
Раскаленно-пунцовый стручок.

И с тобою врывается юг
В наши ветры и наши дожди...
Просим!
Милости просим, мой друг,
В наши перечницы!
Входи!

Правда, мы — порожденье зимы,
Но от острого рта не кривим,
А при случае сможем и мы
Всыпать перцу себе и другим.

Разве даром в полях января
Пахнет перцем российский мороз?!
Разве шутка российская
зря
Пуще перца доводит до слез?!

...Славлю перец! —
В зерне и в пылице.
Всякий: черный — в багряном борще
(Как бесенок в багряном плаще),
Красно-огненный — в красном словце.

Славлю перец!
Во всем, вообще!
Да; повсюду,
Во всем,
Вообще!

АЛОЭ

Вопили джунгли, пели не смолкая,
Звонили в колокольчики лиан,
Вниз головой — дразнили попугаи
Вниз головой висевших обезьян.
Крутились хоромы испарений.
Текла змея, древесный хлюпал сок,
И полыхал — цветов душистый гений —
Алоэ там — чудовищный цветок.
Шла девушка: лианы отклоняла,
Мерцали белым черные глаза.
Заметила алоэ, обломала.
Лишь фейерверком брызнула роса.
Кольцом в носу задумчиво кивая,
Сиреневый растягивая рот
И лепестки гиганта обрывая,
Гадала вслух: «придет» иль «не придет»?
«Не любит», «любит»?..
О! стерпи такое
Другой цветок — большого горя нет.
Любой цветок, но только не алоэ:
Ведь только раз цветет он!
В сотню лет.

МУМИЯ

Не хвастай, мумия, что уцелела ты,
Что у бессмертия ты будто не в обиде:
Хоть не рассыпались во прах твои черты,
Ты тот же самый прах!
Но только в твердом виде.

Черты. А что очерчено? Скажи!
Зачем ты в наших днях?
 Послом какого дела?
Зачем лишь тело —
 след твоей души
В том мире, где душа
 должна быть следом тела?

Кого земля уже давным-давно взяла,
Того и в мертвых нет;
 Он связь порвал с могилой.
Живою, глупая, недолго ты была.
Зачем же мертвою так долго быть?!
Помилуй!

Заметь: и у конца бывает свой конец,
И снова есть за что началу зацепиться...
Не глупо ль? — навсегда в конце закоренеть,
В ничтожестве навеки укрепиться!
Нет!
Лучше стать травой в налете дождевом,
Землей, кузнечиком, родней речному илу,
Чем куклой страшною
 с шафранно-желтым лбом,
Способной пережить свою могилу!

Вот если бы до нас
теперь,
 через века,
Порыв истории (пускай уже неясный)
С египетским теплом
 Принес издалека
Твой голос молодой
 И подвиг твой прекрасный,—
Тогда бы не могла (всем далям вопреки!)
Разрыва меж тобой и мной не одолеть я,
И звать преградою такие пустыки,
Как полтора тысячелетья.

СТАРЫЕ ЛИСТЬЯ

Пока хороши и без листьев
Деревья за рябью ограды,
Пока у весны и без листьев
Довольно веселой прохлады,—

Люблю прошлогодние листья,
Дрожащие их мириады,
И думаю: «Старые листья,
А солнцу, как новые, рады».

Приветствуя сбивчивый ветер,
Они кувыркаются в парках.
Они веселятся, как дети,
Хотя не получают подарков.

Мне нравится их бескорыстье!
...Люблю прошлогодние листья.

ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ВСЕЛЕННОЙ

(Поэма)

До сих пор грохочут водопады,
Сотрясаясь от избытка сил,
В той стране, где правнук Гайаваты
Свой очаг навеки погасил.

Не синеют в сумерках вигвамы,
Старики не курят возле них.
Не скользят каноэ под ветвями
Средь осок и лилий водяных.

Смолк навеки скорбный ваванэйса
В чаще леса — кладбище листвы.
Облетели у вождя-индейца
Радужные перья с головы.

Сохнущие шкуры у порога
В солнечном ветру не шелестят.
Навсегда отчалила пирога
К берегам Понима, на закат.

Навсегда колчаны опустели,
Навсегда лесные короли
Боевые луки опустили,—
В гордое преданье отошли.

Сквозь века,
Сквозь пламя поздней дружбы
Я назад их горестно зову:
— Почему вы бросили оружие?
Где вы скрылись, грозные?
А-у!..

...Только ветер в травах пробегает,
Где, зарывшись в землю с головой,
Вечным сном забылся томагавк —
Лучших дней товарищ боевой.

О, какой же силы дуновенье
И какой же тяжести волна,
Как пушинку, сдуло поселенья?
Как соринку, смысла племена?

Не сюда ли дети кроткой веры
Принесли спасителя завет?
Не сюда ль пришли миссионеры... —
Погасить прекрасный Новый Свет?

Ничего себе у них «молитва»,
Коль сумели раз и навсегда
Срѣзать, как чудовищная бритва,
Целые народы без следа?!

Как же быть?
Как прошлое поправить?
Детям леса сделанное зло
Чем избыть?..
Сорву листок на память
Обо всем, что с ними стать могло...

...Томный Запад!
Тающая тайна...
В диких почках скрытая судьба...
Шелест... Проливное щебетанье...
Водопадов дальняя пальба...
 Холод сладкий, трепет вдохновенный
 Чащ, ослепших в собственной тени...
А туземцы где же?!
Из вселенной
Прочь навеки изгнаны они.

Раса незаслуженного цвета —
Раса белых! Честь невелика!
Ведь великая твоя победа
Преступленьем впишется в века.

Дорог счет за выветренный череп,
Сохнувший на солнце меж травы,
За корону из орлиных перьев,
Сорванную с гордой головы,
За печаль,
Догадку,
Сновиденье,
Где могло быть яви торжество,
Где лишь тот спасен от вырожденья,
Кто не знал рожденья самого!

Дорог счет...
Но все ль он в старой силе?
Кто и с кем расплатится по нем?
Что же делать, если годы смыли
Кредитора вместе с должником?!

И тихонько отвечает ветер,
Пролетая в струйках снеговых:
— Кредитора, верно, нет на свете.
Но должник, по-моему, в живых.

Не на книжных сумеречных полках,
В полных чар Эмаровых томах;
Он живет в сомнительных потомках,—
В ясных виллах, в барственных домах...

И ему ночами сладко спится,
Словно он ни в чем не виноват;
И ему не чудится, не снится
Страшный путь с востока на закат...

Пулями исклеванные «фрукты»,
Терпкие пропойцы, игроки,
У которых бороды — как муфты,
Бакенбарды — как воротники,—

Где они?
От волчьего наследства
Только шерсть отбросив навсегда,
Он давно оставил пору детства,—
Ту, когда бывает борода.
Носит он тончайшие манишки,
Бреется едва не до кости,
Занимает все мирские вышки,
Ходит в церковь.
(Господи, прости!)

Там, в лучах лампы негасимой,
Он застыл в поклоне у колонн:
Не отцов ли грех непоправимый
В этот миг замаливает он?

Где уж там!

Одно он помнит крепко

И одна молитва у него:

«Боже, дай мне в зле, достойном предка,

Переплюнуть предка моего!

Намалюй свое благословенье

На горбах моих броневиков,

И свершу я за одно мгновенье

Преступленье нескольких веков».

О, не поздно ль?

Страны прозревают.

Поздно!

Человечество следит.

Сам себя наш мир не прозревает.

Взлом земли земля предупредит.

Но при этом... Ищет новый разум,

Ищет в прошлом твой досадный след...

И восходит перед новым глазом
В новом свете тот же Новый Свет.

И, дивясь на старое злодейство,

Фермер останавливает плуг

Перед ветхим черепом индейца,

Перед черным делом белых рук...

...Пусть ушли,

Растаяли во мраке

Грозные лесные короли;

С их надгробий стершиеся знаки

Мы в сердца свои перенесли.

1957—1958

КОРАБЛИК

1960—1962

I

КАКОЙ БОЛЬШОЙ ВЕТЕР!

Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домишек сдул крыши,
Как с молока — пену,
 И если гвоздь к дому
 Пригнать концом острым,
 Без молотка, сразу,
 Он сам войдет в стену.

Сломал ветлу ветер,
В саду сровнял гряды —
Аж корешок редьки
Из почвы сам вылез
 И, подкатясь боком
 К соседнему саду,
 В чужую врос грядку
 И снова там вырос.

А шквал унес в море
Десятка два шляпок,
А рыбакам — горе, —
Не раскурить трубок,
 А раскурить надо,
 Да вот зажечь спичку —
 Как на лету взглядом
 Остановить птичку.

Какой большой ветер!
Ох! Какой вихорь!
А ты глядишь нежно,
А ты сидишь тихо,
 И никакой силой
 Тебя нельзя стронуть:
 Скорей Нептун слезет
 Со своего трона.

Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домов сорвал крыши,
Как с молока — пену...
 И если гвоздь к дому
 Пригнать концом острым,
 Без молотка, сразу,
 Он сам уйдет в стену.

ДОМА БЕЗ КРЫШ

(Окраина)

Летняя ночь была
Теплая, как зола...
Так,
Незаметным шагом,
До окраин я дошла.
Эти окраины
Были оправлены
Вышками вырезными,
Кружевными
Кранами.

Облики облаков,
Отблески облаков
Плавали сквозь каркасы
Недостроенных домов.
Эти дома без крыш
В белой ночной дали
В пустошь меня звали,
В грязь и глину завели.

На пустыре ночном
Светлый железный лом,
Медленно остывая,
Обдавал дневным теплом.
А эти дома без крыш
В душной ночной дали
Что-то такое знали,
Что и молвить не могли.

Из-за угла, как вор,
Вынырнул бледный двор:
Там на ветру волшебном
Танцевал бумажный сор.

А эти дома без крыш
Словно куда-то шли,
Шли,—
Плыли,
Как будто были
Не дома, а корабли.

Встретилась мне в пути
Между цементных волн
Кадка с какой-то краской,
Точно в теплом море — челн.

Палка-мешалка в ней,
Словно в челне весло...
От кораблей кирпичных
Кадку-лодку отнесло.

Было волшебно всё:
Даже бумажный сор,
Даже мешалку-палку
Вспоминаю до сих пор.

И эти дома без крыш,
Светлые без огня;
Эту печаль и радость,
Эту ночь с улыбкой дня.

* * *

Там, где кончается город,
Там, где граница асфальта,—
Остановились дома,
Остановилась и я...

Машин затихающий шорох...
И тоненьким кончиком пальца
В эти просторы меня
Позвал,
Позвал стебелек щавеля...

Вижу: стоят в отдаленье
Темной гурьбою деревья...
Ах, сколько счастья, сколько удивленья,
Что дорога к деревьям идет!
Здесь я печаль переспорю...
Вот кто-то скользит через поле
И что-то блéющее, в сумерках белеющее,
Вслед за собою ведет.

Там, где граница асфальта,
Там, где кончается город,
Там начинается ночь,
Ветер
И запах травы...
Дорога ушла и вернулась,
Как будто назад обернулась,
И поворот у дороги
Как поворот головы.

В домиках темных и низких
Низкие светят окошки,—
Так приглянулись мне окошки эти,
Что решила я в них заглянуть.
Там я увидела миски,
Чашки, тарелки и ложки
В каком-то странном, отдаленном свете
И опять продолжала свой путь.

Бревна, канавы, колодцы...
Через четыре болотца
Я по дощечкам прошла...
Ночь и свежа и тепла...
Вот лягушата картавят,
Нежно, как шарик, катая
Букву сердитую «Р»...
Сумрак неверен и сер.

Ах, почему я так долго
Этого места не знала?
И почему дорогой длинной-длинной
Никогда никуда не хожу?
Если расспрашивать будут,
Где это я пропадала
И отчего мои подошвы в глине,—
Я скажу, я скажу, я скажу:

«Там, где кончается город,
Там, где граница асфальта,
Там задержались дома,
Там задержалась и я...
Машин замирающий шорох...
И тоненьким кончиком пальца
В дальние дали меня
Позвал,
Позвал стебелек щавеля».

ДИРИЖАБЛЬ

Не слишком самолет
И не совсем корабль,
А самолет с уступкой кораблю,
Свинцово серебрясь,
Проходит дирижабль.
Я взглядом провожать его люблю.

Как семя кабачка, овальный и живой,
В пласты небес когда-то он запал;
Как семя кабачка, под сорною травой
Несбыточного он не запропал.

Была ли так тепла небесная весна,
Иль сеятеля добрая рука
Хозяйски, перед тем как бросить семена,
Плавающие вспахала облака,—

Но только он пророс чудесной парой крыл,
Ревучих, перламутрово-седых,
Причем, боясь лететь без крыльев, так спешил,
Что на лету себе придумал их,

И дальше полетел, закончив контур свой
В крылатом «ТУ» — предвестнике ракет.
(Ведь наш веселый «ТУ» и есть не кто иной,
Как дирижабль в расцвете лучших лет!)

Но как же он взлетел — бескрылый — в первый раз?
Чем поднял сфер спрессованных плиту?
За что держался там? За дозогонный газ?
За собственную легкость? За мечту?

Я кланяюсь тому, кто сделал первый шаг,
Самой своей бескрылостью крылат:
Хотя бы вату он теперь держал в ушах,
Хотя бы в теплый кутался халат,

Хотя бы умер он — и выронил перо
Безвестное... О! Выйду поутру —
И знаю, что найду на облаке тавро,
След на воде, зарубку на ветру...

С тех пор как плавно лег серебряным яйцом
На облачные перья дирижабль,
Чтоб нынче из него синдбадовым птенцом
Проклюнулся космический корабль;

С тех пор как дымчатой, невидимой рукой
За воздух ухватился Монгольфьер,—
Прекрасен первый шаг! О, все равно какой,
Но только за черту, за тот барьер,

Где неизвестности лежит провальный мрак,
Где не обронишь: «Я сейчас приду...»
Прекрасен первый шаг!
Прекрасен первый шаг,
Хоть многие шагнули в пустоту.

* * *

Под прошлогоднею листвою
Источник сумрачный клокочет.
Туманно-синий колокольчик
Покачивает головой.

А над водою бурелом
Навис, готовый обвалиться:
Под ним течение рвется, длится,
Как будто пламя под котлом.

Туда пойти бы как-нибудь,
Найти знакомый муравейник,
И в муравейник заглянуть,
Как в закипающий кофейник,
И злого ежика спугнуть...

И странный стебель, что до плеч
В травинку трубчатую вложен,
Как мягкий меч — из мягких ножен,
(Чтоб шелком свистнул он!) извлечь.

И палец — просто так — продеть
В кольцо бересты... Посидеть
На том поваленном стволе,
С которого сбегают пятна
Теней... Найти в его дупле
Орех... И положить обратно...

* * *

Все сказано на свете:
Несказанного нет.
Но вечно людям светит
Несказанного свет.

Торговец чучелами птиц
Сегодня мне приснился:
Трухой, как трубку табаком,
Он дятла набивал.
Желтела иволга в тени,
Орел в углу пылился,
И не дразнился попугай,
И соловей молчал.

Торговец чучелами птиц!
Мне твой товар наскучил:
Едва пером дотронушь я
До трепетных страниц,
Как вниз летят мои мечты
На крыльях птичьих чучел,
Когда хотели бы лететь
В зенит — на крыльях птиц.

Слова... Ищу их снова.
И все не те, не те...
Удар —
И грянет слово,
Как выстрел по мечте.

...Рисует рожицы поэт,
Круги, зигзаги чертит,
Пока покажутся слова,
Которых нет верней,
И возле сомкнутого рта
Перо в досаде вертит,
Как в темноте
Вертел бы ключ
У запертых дверей.

Порою шум из-за дверей
Доносится неясный,
И по ошибке этот шум
Мы песнею зовем
И утешаемся: «Пусть шум!
Бывает шум *прекрасный*...
Когда деревья в час ночной
Шумят перед окном,—

Нам видеть их не надо:
У слуха тот же взгляд,
А шум ночного сада
Пышней, чем самый сад».

Но, сделку с музой отогнав
Затрепцовой немой,
Со звоном в позвоночнике,
В тяжелой тишине,
Сижу
И чайной ложечкой
Вычерпываю море,
Чтобы достать жемчужину,
Лежащую на дне.

А море?
Что ж!.. Мелеет...
И вот уже белеет
Сквозь воду тёмным-тёмную
Морского дна песок.
Нет,
Это ночь проходит.
Нет,
Это ночь мелеет,
И в ней белеет, как песок,
Светающий восток.

Но жемчуг мой со мною.
Жемчужницы уста
Концом ножа раскрою:
Жемчужница... пуста.

Ищу ее в сновторных днях,
Ищу в ночах бессонных...
В душе космический огонь,
А на губах — зола.
О плиты творческих могил,
Бессмертьем раскаленных,
Я, может быть, не всю ладонь,
Но палец обожгла.

И с той поры,
И с той поры
Глаза от боли жмурю...
Всего лишь палец обожгла,
А всей рукой трясу...
Я вам несу мою мечту,
Как одуванчик в бурю,
И все боюсь — не донесу,
Боюсь — не донесу.

Все сказано на свете:
Несказанного нет.
Но вечно людям светит
Несказанного свет.

ХУДОЖНИКИ

Кисть художника везде находит тропы.
И, к соблазну полисменов постовых,
Неизвестные художники Европы
Пишут красками на хмурых мостовых.

Под подошвами шагающей эпохи
Спят картины, улыбаясь и грустя.
Но и те, что хороши, и те, что плохи,
Пропадают после первого дождя.

Понапрасну горемыки живописцы
Прислоняются к подножьям фонарей
Близ отелей,
Где всегда живут туристы —
Посетители картинных галерей.

Равнодушно, как платил бы за квартиру,
За хороший иль плохой водопровод,
Кто-то платит живописцу за картину
Либо просто подаянье подает.

Может, кто-то улыбнется ей от сердца?
Может, кто-то пожелает ей пути?
Может, крикнет: «Эй, художник! Что расселся?
Убери свою картинку! Дай пройти!»

Но, как молнии пронзительную вспышку,
Не сложить ее ни вдоль, ни поперек;
Не поднять ее с земли, не взять под мышку,—
Так покорно распростертую у ног!

И ничьи ее ручищи не схватили,
Хоть ножищи по ее лицу прошли.
Много раз за ту картину заплатили,
Но купить ее ни разу не смогли.

БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК

Огонек блуждающий — световой предатель!
Всем болотным кочкам брат, всем сычам приятель,
Будет воду мне мугить, смутное создание;
Если ты рожден светить, — прекрати блужданье.
Если ты рожден блуждать, — прекрати свеченье.
Что еще за мода: лгать в виде излученья?!

Огонек блуждающий! Хитрый, бледнолицый,
Сколько путников сгубил? Сколько экспедиций?
Сколько шедших по тропе, прежде пешеходной?
А не скучно ли тебе, огонек холодный,
Быть холодным фонарем для зрачков горячих?
Быть слепым поводырем — для кого? — для зрячих!

Огонек блуждающий! Тихий угнетатель,
Неожиданных препон тонкий создатель!
Есть ли сердце у тебя, призрак, искра ада?
Чтобы радоваться злу, сердца ведь не надо!
...Странен путник без пути, страшен путь без цели
И в ночном кошмарном сне,
И на самом деле.

Но что я вижу!
Книги,
Чертежи,
Мотыги,
Статуи,
Рыбачьи сети...

Здесь
Каждый что-то строил,
Пел,
Лепил,
А мглы нависшей
Как бы и не видел:
Кто прежде ненавидел и любил,
Тот и теперь любил и ненавидел.

И между тем как, ползая у ног,
Собаки жались к маленьким каюрам,
Художник
На последний свой мазок
Поглядывал с критическим прищуром,

И шел поэт, спокойный, как ковчег
Над всплесками библейского потопа,
И телескоп смотрел, как человек,
И человек стоял у телескопа.

Как светятся два глаза!
Как приник
Он к блеску звезд, сочувственно дрожащих!
Как счастлив! — Хоть не станет через миг
Ни глаз, ни звезд, глазам принадлежащих.

И в страшный час, когда из
Подлеца,
Как залп из жерла, хлынул крик развязки,
И вылезло лицо из-под
Лица,
И выпрыгнула маска из-под
Маски, —

Вбежал какой-то хрупкий человек,
Стал посреди всего земного шара,
С лицом усталым, как весенний снег,
Подтявний от близости пожара.

«Нашел! — Он крикнул.— Эврика! —
как брат,
Раскрыв народам быстрые объятия,—
Я знал, я знал, что входит в яд и в ад
Противоядье и противоядье!

Не будет взрыва!
Атомы за нас!
Я усмирил веществ восставших смуту!
Я сделал все. И завершил — сейчас.
Да — в этот миг,
В предсмертную минуту».

ПОПУГАЙ

По клетке, шкафами задвинутой,
Где книги в пыли вековой,
Взъерошенный, всеми покинутый,
Он бежит вниз головой.

Чудак с потускневшими перьями!
Чудит, а под веками — грусть.
Язык истребленного племени
Он знает почти наизусть.

Язык, за которым ученые
Спускаются в недра веков,
Где спят города, занесенные
Золой раскаленных песков...

Язык, что плетьюми виноградными
Петляет по плитам гробниц
И хвостиками непонятными
Виляет с разбитых таблиц.

Прекрасный язык — но забылся он,
Забылся, навеки уснув.
Огромный — но весь поместился он,
Как семечко, в маленький клюв.

Привык попугай разбазаривать
Бесценную ношу в тоске,
С собою самим разговаривать
На умершем языке,

В кольце кувыркаться стремительно,
Вниманья не видя ни в ком,
И сверху смотреть
Снисходительно,
Когда назовут дураком.

ИНДЕЙСКАЯ ПЕСНЯ

Струны о чем-то рассказывают бойко,
Старая песня уводит за собой...

Были у Джимми и ферма и ковбойка,
Но не был он фермер и не был он ковбой.

Ферму забросил,
На все махнул рукою,
Ковбойку нараспашку — и пошел по кабакам...
Ой, ой! Джимми! Джимми!
Поведай, что с тобою!
Не видит он,
Не слышит он,
Не знает он и сам.

...Были когда-то
Хозяевами штата
Индейцы-делавары, почитатели ветров.
Знать их не знал он...
Так вот ведь досада!
Текла в жилах Джимми индейская кровь.

Снились вигвамы,
Лосиные шкуры,
И кто-то мокасины
Сушил перед огнем...

Вот потому-то
Ходил Джимми хмурый
И песен индейских
Не пели мы при нем.

Не грусти, Джимми,
Поезжай в город,
Выгодно продай
Зерно.

А что в твоём сердце —
Радость или горе, —
Предкам твоим все равно.

С тучи, как боги,
Сошли раскаты грома,
Коршуном пала на прерию гроза...
Джимми увидел
В своем стакане рома
Индийские косы, раскосые глаза.
Скулы как скалы,
Зажженные закатом,
Фламинговой короны пламенеющий костер...

Ой, ой,
Джимми, Джимми!
Куда же ты? Куда ты?
Ушел. И никогда его не видели с тех пор.

Бармен сказал: «Это все от безделья»,
А пастор намекнул, что «от безверья своего».
Грозная ночь бушевала за дверью,
И больше никто не сказал ничего...

Ферма дичает, бурьяном порастает,
Не видно белой лошади, не слышен лай собак...
Песню про Джимми
Теперь никто не знает,
А если бы знали, то пели бы вот так:

Не горюй, Джимми!
Поезжай в город,
Выгодно продай
Зерно...

А что в твоём сердце —
Радость или горе, —
Предкам твоим все равно,
Предкам твоим все равно,
Все равно,
Все равно...

II

* * *

Пастух по стаду выстрелил кнутом.
Дорога в лес тепла и лиловата.
Узоры листьев черным решетом
Просеивают золото заката.

Темнеет;
Кольца плавают на пне...
Шум сосен сух, как теплый шорох шлака...
Между стволами, в розовом огне,
Танцуют мошки, словно крошки мрака.

А я еще живу минувшим днем,
Танцую про себя, отстав от танца,
Бегу за убегающим огнем:
«Стой, солнце, я прошу тебя: останься!»

Но вот и ночь, горячая, как весть,
Что завтра снова будет день погожий.

И чувствую, что солнце где-то здесь:
Под тонкой тьмою,
Точно кровь под кожей.

ЛЕТО

Между кольями забора серого
Солнце длинные лучи просунуло.
На дорогу лопухи повыбрались,
Пыли зачерпнув краями грубыми.

Подорожник — санитар испытанный,
Врачеватель ног, в пути пораненных, —
Подошел к дороге, приготовился:
Может, думает, кому повадблюсь...

Одуванчик облетать нацелился:
Все его пушинки набок съехали,
Но остановились нерешительно:
А куда лететь? В какую сторону?

Жаркий день уже склонился к вечеру:
Вечер дню шепнул о чем-то на ухо,
Облака подслушали, задумались
И, забыв, зачем пришли, растаяли...

* * *

Есть и у капусты верхние листы:
Как подошва новая, толсты,
Крепче бранных слов, грубее бранных лат,
С жилами — что парусный канат!

От лихих невзгод, от бурных непогод,
Выставив щиты из всех ворот,
Бодро стережет грубый этот полк
Сердцевину, нежную, как шелк.

Чтобы в это сердце, белое, как снег,
Заглянуть, — я сшибла верхний лист.
Вдруг... из-под листов, как слезы из-под век,
Мне в рукав росинки полились!

Скрипнув, приоткрылся странный лабиринт...
А по коридорам, скрученным, как винт,
Да по переходам — слезы всё текли,
Все остановиться не могли...

«Воины не плачут»? Вот тебе и раз!
Спорим, что ревели, например,
Заслонясь щитами от нескромных глаз,
И Ахилл и грозный Искандер.

Как же им не плакать, как не горевать,
Если приходилось ближних убивать?!
А кому так самому — на поле битвы пасть;
На свою же свадьбу в гости не попасть!

ЖДУ СНЕГА

Долги дни короткие. Ветви в небе скрещены,
Черные и четкие, точно в небе трещины.
Плач берез потупленных... Пни дождем разварены,
Точно замков кукольных древние развалины.

Листья под заборами. На осинах вороны —
Осени блюстители, листьев заместители.
Ближний лес туманится, вкривь и вкось проветренный,
Дождь резиной тянется... Снег — и тот приветливей:

Налетит, завертится, пень прикроет горкою,
На лету задержится за рябину горькую,
Все собой оденет он, всюду, всюду ляжет он,
Все куда-то денет он, а куда — не скажет он.

ЗИМА

Что так чинно ходики ступают?
Что так сонно, медленно идут?
То ли стрелки к цифрам прилипают,
То ли цифры к стрелкам пристают?

Ночь. Молчанье. Только дверь снаружи
Напрягает раму и трещит,
Листовую сталью лютой стужи
Облицованная, словно щит.
Спит колодец в панцире, как витязь,
С журавлем, похожим на копьё...
На веревке, чуть во мраке видясь,
Лязгает промерзлое бельё.
Простыни в бесчувствии жемчужном
Плавают как призраки знамен,
От рубах исходит то кольчужный,
То как будто колокольный звон.
...Ну кого, скажи, не опечалит
Прямо в душу вмерзшая зима?
Лишь зима зимою не скучает,
Веселится лишь она сама:
Катится над серыми полями,
Сети веток склеивает льдом,
Громоздит сугробы штабелями,
Чтоб никто — ни из дому, ни в дом.

То в дупло наклонное ныряет,
Как ловец за жемчугом на дно,
То снежинку острую вперяет
С любопытством в темное окно...
 Пальцами прищелкивает стужа,
 Не мытьем, так катаньем берет
 И как будто стягивает туже
 Пояса истаявших берез.

...Что так чинно ходики ступают?
Что так сонно, медленно идут?
То ли стрелки к цифрам прилипают,
То ли цифры к стрелкам пристают?

РОБЕРТ ФРОСТ

Если тебе не довольно света
Солнца, луны и звезд,
Вспомни,
Что существует где-то
Старенький фермер Фрост.

И если в горле твоём слеза
Как полупроглоченный нож,
Готовый вылезти через глаза,—
Ты улыбнешься все ж.

Ты улыбнешься лесным закатам,
Всплескам индейских озер,
Тупым вершинам,
Зернистым скатам
Шероховатых гор,
Багряным соснам,
Клюквенным кочкам,
Звонко промерзшим насквозь;
Лощинам сочным,
Лиловым почкам,
Долинам, где бродит лось,

Метису Джимми,
Джо или Робби,
Чей доблестный род уснул;
Последним каплям
Индейской крови
Под бурю кожей скул,
Солнцу, надетому сеткой бликов
На черенки мотыг...

Если бы не было жизни в книгах —
В жизни бы не было книг.

Если тебе не довольно света
Солнца, луны и звезд,
Вспомни,
Что существует где-то
Старенький фермер Фрост.
Лошадь глядит из-под мягкой челки,
Хрипло поют петухи,
Книга стоит на смолистой полке —
Фермеровы стихи.

Раскроешь книгу — повеет лесом,
Так, безо всяких муз;
Словно смеющимся надрезом
Брызнет в лицо арбуз,
Словно
Вспугнешь в великаньей чаще
Маленького зверька,
Словно достанешь
Тыквенной чашей
Воду из родника.

И в этом диком лесном напитке
Весь отразится свет —
Мир необъятный,
Где все в избытке,
Но вечно чего-то нет...

И снова примешь ты все на свете:
И терпкое слово «пусть»,
И путь далекий,
И зимний ветер,
И мужественную грусть.

* * *

В лощинах снег, слоистый, как слюда,
От падающих капель конопатый.
Смотри! — ручей надбил скорлупку льда
И снова спрятался, как виноватый.

Он что-то с берега хотел стянуть,
Уже струю он протянул, как руку,—
Кусок коры, хвоинку — что-нибудь,
Что первых поисков умерит муку...

Краснеет пня струящийся надрез,
Лучи в ветвях плетут свои корзины,
Ноздрями мха свободно дышит лес,
Лед на воде не толще паутины.

Я прутиком разбила лед ручья:
Бери весну, ручей,— она твоя!

АХ, КАК ДОЛГО ЕДЕМ...

Ах, как долго, долго едем!
Как трудна в горах дорога!
Чуть видны вдали хребты туманной сьерры.
Ах, как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется в бездну камень серый.

Тишина. Лишь только песню
О любви поет погонщик,
Только песню о любви поет погонщик,
Да порой встряхнется мул,
И колокольчики на нем,
И колокольчики на нем забьются звонче.

Ну скорей, скорей, мой мул!
Я вижу, ты совсем заснул:
Ну поспешим — застанем дома дорогую!..
Ты напешься из ручья,
А я мешок сорву с плеча
И потреплю тебя и в морду поцелую.

Ах, как долго, долго едем!
Как трудна в горах дорога!
Чуть видны вдали хребты туманной сьерры..
Ах, как тихо, тихо в мире!
Лишь порою из-под мула,
Прошумев, сорвется в бездну
Камень серый.

III

ЛИЛИЯ

Расцвела чудовищная лилия, —
Так приметна, что почти груба.
Серебристым рогом изобилия
Вывернулась изнутри себя,

Чтобы все накопленное вытряхнуть,
Все росинки ночи и зари,
И тычинками
На волю вытолкнуть
Аромат, свернувшийся внутри.

Лилия — я всю ее прослушала —
Больше, чем я знаю, глубока!
Точно звуки из рожка пастушьего,
Тянутся тычинки из цветка.

Желтыми пушистыми указками
В русло направляют аромат.
А иначе — в день глухой и пасмурный —
Он бы шел без русла, наугад:

Уходил бы от немногих любящих,
Приходил туда, куда не ждут,
Нежный как душа, ходил бы в рубище,
Плача, ел бы камень, пил мазут.

И наверно, это только чудится,
Что ничей он, что он сам собой:
Он и перед смертью не заблудится,
А вернется в лилию, домой.

ДУБРАВА

Не находя для выхода ни щели,
Чуть брезжит солнце сквозь дубовый лист.
Люблю дубы, чьи дупла как пещеры,
Чей свежий свод коричневы и сквозист.
 Чей лист прозрачен, точно решето,
 Но плотен, словно глина красной кринки,
 И кажется: прижми к губам и крикни,—
 Он не пропустит крика ни за что.
Со всех сторон стесненная дубравой,
Как нить в иглу, продетая во мглу,
Стоит береза: солнца луч курчавый
Бежит по шелушистому стволу.
 В глухом углу, неистово заросшем,
 Она дрожит, чешуйчато светясь,
 С горячим днем, сверкающим за рощей,
 Сверканием поддерживая связь.
Всем существом береза внемлет свету,
Как будто, продолжая облака,
Не из земли растет, а льется сверху,
Как пляшущая струйка молока.

А желуди соскальзывают с веток,
А блестя дня сквозь листья моросят,
И паутинки, лезвиями света
Над тенью занесенные, висят.

В ДЕТСТВЕ

Свет потушен, сказка не досказана,
Лес в окне. Или окно в лесу...
Ночь деревья по небу размазала,
Как ребенок — слезы по лицу.

Шепчут листья что-то отвлеченное,
На пеньках сияют светляки.
Чуть мерцает за стволами черными
Факельное шествие реки.

Взмыли ели языками копоты
От ее холодного огня.
В плеске струй, в их шарканье и топоте
Поступь ночи, шум забвенья дня.

Черной кляксой клен растекся в воздухе,
Все тропинки мглой замело,
И во мгле осталось от березоньки
Только то, что было в ней бело.

* * *

Есть путешественник:
Не я,
Не ты, не тот, не этот,
А некто, чей блокнот не оглашен.
Бесчисленные первые
За ним идут и едут,
Не ведая, что первый — это он.

Ему знакома ночь в горах — без запаха и вкуса,
Прорубленная в дебрях колея,
И электрический толчок змеиного укуса,
Как выстрел из бесшумного ружья.

И лихорадки пестрый бред, и вопли попугаев,
И рябь на реках, нудная, как сыпь.
И гроздь гадов на стене в гостинице на сваях,
Где не житье, хоть золотом осыпь.
И широко расставленные звезды ночи южной,
И плоские ступени длинных волн,
И крепкий трепет кораблей бегущих, и недужный
Девятый вал, набыченный, как вол...

Есть путешественник,
Но ты его не сдвинешь с места,
Когда колибри — птичка-огонек —
Трепещет, вдевая в кольцо из собственного блеска,
Как тонкий пальчик в тонкий перстенок.
И он не спит, когда в ночь от дуновений беглых
Жасмина проступают лепестки,
Как в темно-пепельной толпе идущих в ногу негров
Лукавых глаз косящие белки.

Идет он пыльной пристанью, белеющей дорогой,
И где-то на пути его лежит
Жемчужина, подернутая томной поволокой,
Жемчужницу зажмутив и смежив.
И где-то сфинксы вдалеке, очерченные слабо,
Уступчиво-уклончивый песок...
И где-то степь шершавая и каменная баба
С едва заметным сусликом у ног...

Есть добрый путешественник:
Его рукопожатье
Надежней, чем гербовая печать.
Все страны сестры для него
И все народы — братья:
Он хочет всех увидеть, все узнать...

Быть может, где-нибудь ему
За это руки свяжут,
Как драчуну в угаре кабака,
А он на помощь позовет
И о себе расскажет,
И все о нем узнают...
А пока —

Есть путешественник:
Не я,
Не ты, не тот, не этот,
А некто, чей блокнот не оглашен.
Бесчисленные первые
За ним идут и едут,
Не ведая, что первый —
Это он.

ЛОДКА

Избочась, излучая бодрость,
С белым парусом лодка шла,
И волна за собою
Водоросль
Волокнистую волокля.

Кто-то пел на верхушке мола,
Шел за лодкой курчавый след,
Как стена в середине моря
Воздвигался отвесный свет.

Так сияли бортов изгибы,
Будто лодка была живой:
Полуптица и полурыба
С человеческой головой!

И никто никогда не встретил
Эту лодку потом нигде:
Скрылась лодка в отвесном свете,
Как скрываются в темноте.

* * *

Прилива плеск
 так звонок в этом месте! —
Визгливым звоном битого стекла.
Как будто я по вздыбившейся жести,
А не по круглым камешкам пришла.

Мне чайка, будто вилкой — дно тарелки,
Голодным криком выскоблила слух...
Свистит песок... Но все смягчают белки,
Смешные, невесомые как пух.

Щепча хвостом, просвечивая тельцем,
Вокруг стволов певучих и живых
Они кружатся, словно по ступенькам
Незримых глазу лестниц винтовых.

Глазенками поблескивая странно,
То вдруг собьются в тесную семью,
То — прыгнут врозь (как брызги из-под крана,
Когда подставишь палец под струю).

...Я ухожу от моря понемногу
В сосновый лес по узенькой тропе,
Но чувствую: оно заходит сбоку
И вновь напоминает о себе —

То как бы отнятым от горизонта
Корабликом, застывшим на весу
Между ветвей, далеким — дальше солнца,
Но поднесенным к самому лицу;
То — раковинной, найденной в лесу...

Среди камней позванивает вереск —
То суше, то свободней и свежей:
Отчетливый, почти точеный шелест —
Резьба на слух, гравюра для ушей!

Мое вниманье, как стрела на луке,
Тренещет. Тишина, как тетива,
Натянута... О, тише! — Эти звуки
Не звуки, а почти уже слова.

ЯНТАРЬ

Накапливалась теплая гроза.

Послушай: миллионы лет назад

Над морем сосны плакали смолой,

То вместе плакали, то — вразнобой.

Затем не стало стонущих лесов,

Да и того, о чем был стон лесов,

И только море, сосны в пыль смолов,

Зеленой тенью эту пыль несет.

И только в пенье впалых парусов,

И только в пенье ветра в парусах

Зеленой тенью, музыкой без слов

Еще вздыхает память о лесах.

Не уверяй меня, что там, на дне,

Танцуют водоросли в этот миг:

Я вижу там леса, которых нет;

Их отражения без них самих.

Но кроме хвойных призраков — сырых

Древесных привидений — там должно

Еще быть нечто — взятое от них,

Впечатанных в чешуйчатое дно!

Янтарь, смола...

В одном кристаллике и свет и мгла:

Так на меду стояла бы роса,

С ним не сливаясь... Ты скажи, смола,

А где твои сосновые леса?

Куда ты дела их? Скажи, смола...

Из моря, точно за руку — дитя,

Тебя на берег вытащил прибой,

КОРАБЛИК

Жил кораблик веселый и стройный:
Над волнами как сокол парил.
Сам себя, говорят, он построил,
Сам себя, говорят, смастерил.

Сам смолою себя пропитал,
Сам оделся и в дуб и в металл,
Сам повел себя в рейс —
Сам свой лоцман,
Сам свой боцман,
Матрос,
Капитан.

Шел кораблик, шумел парусами,
Не боялся нигде ничего.
И вулканы седыми бровями
Поводили при виде его.

Шел кораблик по летним морям,
Корчил рожи последним царям,
Все ли страны в цвету,
Все ль на месте,—
Все записывал,
Все проверял!

Раз пятнадцать, раз двадцать за сутки
С ним встречались другие суда:
Постоят, посудачат минутку
И опять побегут кто куда...

Шел кораблик, о чем-то мечтал,
Все, что видел, на мачты мотал,
Делал выводы сам,—
Сам свой лоцман,
Сам свой боцман,
Матрос,
Капитан!

ГОРИЗОНТ

Видишь?

Зеленым бархатом отливая,
Море лежит спокойнее, чем земля.

Видишь?

Как будто ломтик от каравая,
Лодочка отломилась от корабля.

Яхты и пароходы ушли куда-то.

Видишь? По горизонту они прошли,

Так же

как по натянутому канату

В цирке

канатоходцы пройти могли.

Словно за горизонтом обрыв отвесный —

Пропасть. И пароходы идут, скользя,

Робко и осторожно держась над бездной,

Помня, что отступаться туда нельзя.

Ты же

Так хорошо это море знаешь

И песни, песни

про эту пропасть

поешь,

поешь...

Что ж ты за горизонтом не исчезаешь?

Что ж ты за пароходами не плывешь?

Видишь?

Канатоходцами по канату —

Снова по горизонту они прошли;

Снова — в Константинополь, Суэц, Канаду,

Снова — по краю моря на край земли.

ПЕСНЯ С ПИНГВИНАМИ

Там никогда не снился мир цивилизованный.
Покрыто море голубым и белым льдом.
Там даже в воздухе не пахнет робинзонами.
Но кто ж построил, кто построил этот дом?

Как накрахмаленные стеганые ватники,
Стоят пингвины — даже руки развели...
Там не живут ни рыбаки, ни медвежатники,
Туда не ходят, не доходят корабли.

Нетопленная печь,
Неписанный закон,
Незапертая дверь,
Ненастный небосклон.

И ты туда придешь,
И я туда приду,
И ты меня найдешь,
И я тебя найду.

А по весне и горячо и утомительно
Сверкает снег, — сверкает так, как блещет меч.
А ледники с лазурных гор ползут медлительно,
Ползут лениво, как плащи с покатых плеч.

Но снова сумерки встают со дна расселины,
И гаснут искры, беспокойные для глаз,
И возвращается ненастье темно-серое —
В который раз! В который раз! В который раз!

Без удержи кружит,
Без умолку ревет;
Без помощи небес
Бес беса не найдет.

Но ты туда придешь,
Но я туда приду,
Но ты меня найдешь,
И я тебя найду.

БРАТЬЯ КАПИТАНЫ

В закатных тучах красные прорывы.
Большая чайка, плаваний сестра,
Из красных волн выхватывает рыбу,
Как головню из красного костра.

Двумя клинками сшиблись два теченья, —
Пустился в пляску ящик от сигар,
И, как король в пурпурном облаченье,
При свете топки красен кочегар.

Мы капитаны, братья капитаны,
Мы в океан дорогу протоптали,
Мы дерзким килем море пропорол
И пропололи от подводных трав.

Но кораблям, что следуют за нами,
Придется драться с теми же волнами
И скрежетать от той же самой боли,
О те же скалы ребра ободрав.

На что, на что смышлен веселый лоцман, —
Но даже он стирает пот со лба:
Какую глубь еще покажет лот нам?
Какую даль — подзорная труба?

Суровый юнга хмурится тревожно
И апельсин от грубой кожуры
Освобождает так же осторожно,
Как револьвер — от грубой кобуры.

Мы капитаны, братья капитаны,
Мы в океан дорогу протоптали,
Но корабли, что следуют за нами,
Не встретят в море нашего следа;

Нам не пристали место или дата;
Мы просто были где-то и когда-то.
Но если мы от цели отступали,—
Мы не были нигде и никогда.

МАЯК

Я истинного, иссиня-седого
Не испытала моря. Не пришлось.
Мне только самый край его подола
Концами пальцев тронуть довелось.
Но с маяком холодновато-грустным
Я как прямой преемственник морей
Беседую. Да, да, я говорю с ним
От имени спасенных кораблей!
Спасибо, друг, что бурными ночами
Стоишь один, с испариной на лбу,
И, как локтями, крепкими лучами
Расталкиваешь темень, как толпу.
За то, что в час, когда приносит море
К твоим ногам случайные дары —
То рыбку в блеске мокрой мишуры,
То водоросли с длинной бахромою,
То рыжий от воды матросский нож,
То целый город раковин порожних,
Волнисто-нежных, точно крем пирожных,
То панцирь краба, — ты их не берешь.
Напрасно кто-то, с мыслью воровскою
Петляющий по берегу в ночи,
Хотел бы твой огонь, как рот рукою,
Зажать и крикнуть: «Хватит! Замолчи!»
Ты говоришь. Огнем. Настолько внятно,
Что в мокрой тьме, в прерывистой дали,
Увидят
И услышат
И превратно
Тебя не истолкуют корабли.

ДУША ВЕЩЕЙ

1963-1965

I

ПЕСНЯ В ПЕСНЕ

На плоту уплывающем стоя,
Огибая речную излуку,
Древней руны руно золотое
Перекинула я через руку.

Суетились у пристани лодки,
Цепи якорные
Рокотали,
Под водой, как белье на веревке,
Отраженья домов трепетали.

И плыла я и пела: «Недаром
Шар земной называется шаром;
Оттого что земля не квадратна,
Я всегда приплываю обратно».

И речные плывущие вещи
С никуда не плывущими вместе
По-домашнему мне подпевали
И других подпевать подбивали.

Пели шлюпы с цветными бортами,
Пели кольца безмолвного дыма,
Как немые, с закрытыми ртами,
Пели бревна, плывущие мимо,
Пели волны, уключины пели,
Но никто их, казалось, не слышал,
И никто из темнеющей двери
На темнеющий берег не вышел.

Только там, где река поворотом
Прилила к повороту дороги,
Тихо стал неотчетливый кто-то
На едва освещенном пороге.

Человеком ли,
Дымной ветлою,
Или ивой, чье синее знамя
Прячет в воду концы,
Или мглою,

Полной каверз, он был — я не знала.

И была ль моя песня во мраке
Пузырьком на подводной коряге,
Или звоном в ушах,
Или следом

Птицы в небе — он тоже не ведал.

Но почудилось мне почему-то,
Что расслышал он все — безупречно!

И река загорелась —

Как будто

Этот миг утвердился навечно.

И плыла я и пела: «Недаром
Шар земной называется шаром;
Оттого что земля не квадратна,
Я всегда приплываю обратно».

ОТГОЛОСОК

Мне самой непонятно:
Отчего это я, невпопад,
Поглядев на полоски и пятна,
Вспоминаю про шар и квадрат?
Как могу несовместные вещи,
Врозь простые, но странные вместе,
На одну я нализывать нить?
Чем я это должна объяснить?
Тициановские полотна
Вижу в трещинке на стене;
Вижу кринку и хлеб — на луне...
Так бывает, когда безотчетно
И беспечно мечтается мне.
Помню море — по запаху досок,
Снег — по блюдцам, разбитым зимой...
Так бывает, когда отголосок
Долговечнее песни самой.

Песня спета,
Но отзвук
Беспределен, как воздух,
Как вода...
Не от звука — от отзвука образ...

Звук сегодня, но эхо — всегда.

Отголосок рисует
Против правил, и этак и так,
И, резвясь, воедино связует
Марс, Афины и старый башмак.

Шквал, корзина, известка,
Страшный суд и дорожная грязь,
Ветер, зеркало, хворост, повозка
И на старых обоях сырая полоска
В долготе отголоска
Обретают бессвязную связь...

Отголоску внимаю,
Как заклятию... Прутик в руке:
В этот миг я не знаю,
Что и как начерчу на песке...

Отзвук музыки — область,
Где не видишь, а смотришь в упор;
Начерчу ли я образ
Или смертный себе приговор?

Отголосок забывчив;
(Так один из турнирных задир
С грозной башни упал, не разбившись,
Потому что разбиться — забыл...)

Отголосок задумчив;
Я ночной океан узнаю
И матросов, задувших
В нем последнюю спичку свою!

...Все могу потерять я,
Все могу обрести,
Потому что смешала понятия:
«Потерять» и «Найти».

ДРЕВЕСИНА

Кольца на пне —
Как на воде круги,
Словно кто нырнул
И в волны завернулся.

Кольца на пне —
Как на воде круги:
Словно кто нырнул
И больше не вернулся.

— Кто бы ты ни был,
Вынырни! Вернись! —
Руки ломая,
Вокруг дерева гнутся, —
Видим:
Круги над тобою разошлись, —
Если погиб,
То они должны сомкнуться.

Нет! Над тобой не смыкаются круги;
Значит, не все запропало под волнами,
Значит, вернешься,
Значит, не погиб, —
Выбежишь,
вынырнешь,
встанешь между нами!

Светит под лаком
Сучок,
Который врос

В крышку стола —
Лакированную лужу;
Так мальчуган,
О стекло расплющив нос,
Смотрит из запертой комнаты наружу.
Нити древесные вьются, словно флаг,
Тают, как дым,
Через прерванные мили
Сияются плыть...
Но когда бы этот лак
Их не прикрыл —
Ведь они бы дальше плыли!..

Так на бегу спотыкается бегун,
Так прерывается то, что вечным слыло;
Так с корабля выливают на бурун
Жир из бочонка,
Чтоб судно проскочило.
(Благо? Да шхуна на рифах опочила...)

Так над стремниной извилин мозговых
Кто-то встает и, промолвив: «Успокойся», —
Жестом руки останавливает их...

Лак,
Ты — мой враг!
Нет,
Уж лучше эти кольца!

Кольца на пне —
Как на воде круги, —
Кто-то нырнул —
И надеждой сердце бьется:
Вынырнут,
Вынырнут новые ростки!
Тот, кто ушел, —
Все равно еще вернется.

СТРАНА ДЕТСТВА

Я бы сменяла тебя, там-там, на тут-тут,
Ибо и тут цветы у дорог растут.
Но не самой ли судьбою мне дан там-там?
Ибо глаза мои тут, а взгляд мой — там.

«Там» — это пальма, тайна, буддийский храм.
Остро-нездешних
Синих морей благодать...
Но еще дальше,
Но еще больше — «Там»,
То, до чего, казалось, рукой подать.

...Пронизан солнцем высокий пустой сарай...
«О, как я счастлив!» — кричит во дворе петух...
Свежие срезы бревен подобны сырам,
Пляшет, как дух, сухой тополиный пух.

Помню: кистями помахивала трава,
В щели заборов подглядывая, росла,
И ветерок, не помнящий родства,
Тихо шептал незапамятные слова.

Там одуванчиков желтых канавы полны,
Словно каналы — сухой золотой водой...
Жаль: никогда не увидеть мне той стороны,
Желтой воды никогда не набрать в ладонь.

Я и сейчас как будто блуждаю там,
И одуванчики служат мне канвой,
Но по пятам, по пятам, по моим следам
Тяжко ступает память — мой конвой.

Можно подняться — в конце концов — на Парнас,
Якорь на Кипре кинуть, заплыть за Крит,
Но как вернуться
Туда, где стоишь сейчас?
Где одуванчик долгим дождем закрыт?

Витают, как дух, сухой тополиный пух,
Боятся упасть: земля сыра, холодна...
Боятся душа
С собой побеседовать вслух,
Боятся признать,
Что потеряна та страна.

МОСТЫ

Смешался свет витрин
Со светом фонарей,
Свет фар и свет реклам,
Свет окон и дверей,
А по реке, где спину выгнул мост,
Бежит луна — и тащит сетку звезд.

Крутой прогиб моста
Рекою отражен:
Два полукруга круг
Замкнули с двух сторон,
А в этот круг
Вбегают огоньки,
Как в обруч — прирученные зверьки.

Хоть нынче на мосты
Не ставятся посты
И не берет никто
Налогов мостовых —
По-прежнему прохожие на них
Сбавляют шаг: им нравятся мосты.

Не оклик часовых
Задерживает их,
А нити золотых,
На сваи навитых,
Растянутых теченьем огоньков
Да помесь тины с тенью облаков.

Не нужен тут пароль.
Но чудится порой:
Незримые стоят
Солдаты на посту,
А им-то и нужнее, чем пароль,
Сама твоя задержка на мосту.

Как будто только в том,
Как будто в том одном,
Что, околдованный поверхностью и дном
Бегущей вдаль реки,
Ты задержался здесь,
У призрачных перил,—
Пароль и есть.

Но если, не взглянув
На ход хвостатых струй,
Разорванной луны
И вытянутых звезд
И не отдав пароль,
Ты в миг минуешь мост —
То и меня, на всех путях,—
Минуй.

СОВЕРШЕНСТВО

Боюсь совершенства, боюсь мастерства,
Своей же вершины боюсь безотчетно;
Там снег, там уже замерзают слова
И снова в долины сошли бы охотно.

Гнетет меня ровный томительный свет
Того поэтического Арарата,
Откуда и кверху пути уже нет
И вниз уже больше не будет возврата.

Но мне, в утешенье, сказали вчера,
Что нет на земле совершенства. И что же?
Мне надо бы радостно крикнуть: «Ура!»,
А я сокрушенно подумала: «Боже!»

ПЕСНИ КИПЛИНГА

Ты похлопывал гиен
Дружески по спинам,
Родственным пожатием
Жало кобры жал,
Трогал солнце и луну
Потным карабином,
Словно прихоти твоей
Мир принадлежал.

Кроткий глобус по щеке
Потрепав заранее,
Ты, как столб заявочный,
В землю вбив приклад,
Свил поэзии гнездо
В той смертельной ране,
Что рукою зажимал
Рядовой солдат.

Песня — шагом, шагом,
Под британским флагом.
Навстречу — пальма пыльная
Плыла издалека;
Меж листьями — кровь заката,
Словно к ране там прижата
С растопыренными пальцами рука...

Брось! Не думай, Томми,
О родимом доме;
Бей в барабан!
Бей в барабан!

Эй, Томми, не грусти!
Слава — слева,
Слава — справа,
Впереди
И сзади — слава,
И забытая могила — посреди...

Но, прихрамывая, шел
Томми безучастный,
Без улыбки, без души,
По земле чужой,
И смутили Томми слух
Музыкой прекрасной,
Чтоб с улыбкой умирал,
Убивал — с душой.

И взлетела рядом
С пулей, со снарядом
Песенка:
О добрых кобрах,
О дневных нетопырях,
Об акулах благодарных,
О казармах светозарных
И о радужных холерных лагерях.

Сколько,
Сколько силы
В этой песне было!
Сколько жизни... в честь могилы!
Сколько истины — для лжи!
(Постигим и непостижен,
Удержал — так отпусти же,
Отпусти нас или крепче привяжи!)

Песня!
Все на свете
Дышит песней;
Ветер,
Гомон гонга,
Говор Ганга,
Мерный шаг слона...
Да не спеть нам ни единой,
Ни единой — лебединой,
Ибо в песню вся планета впряжена.

...Ноги черные сложив
Как горелый крендель,
На земле сидит факир —
Заклинатель змей.
Встала кобра как цветок,
И на пестрой флейте
Песню скорби и любви
Он играет ей.
Точно бусы в три ряда,
У него на шее
Спит гремучая змея;
Зло приглохло в ней.
Властью песни
Быть людьми
Могут даже змеи,
Властью песни
Из людей
Можно делать змей.

...Так прощай, могучий
Дар, напрасно жгучий!
Уходи!
Э, нет! Останься!
Слушай!
Что наделал ты? —
Ты,
Нанесший без опаски
Нестареющие краски
На изъеденные временем
холсты!

ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ

Дождь,
Дождь вечерний
Сквозь водосточные трубы.
Мокрые стены,
Зеленая плесень да мох...
Ах, эти трубы!
Сделали трубочкой губы,
Чтобы
Проходим
Выболтать тайны домов.

Трубы вы, трубы,—
Я вашим тайнам не рада.
Ржавые трубы,
Вы бросьте про тайны трубить!
Я вас не знаю,
Мне ваших секретов не надо:
Зная секреты,
Трудно мечтать и любить.

Верю, ах, верю
Тому, что за эту дверью
И в том окошке
Измена, обида, обман...
Верю, ах, верю! —
Но почему-то... не верю.
И улыбаюсь
Каменным этим домам.

Верю надежде,
Даже как будто напрасной,
Даже напрасной,
Совсем невозможной мечте...
Вижу я город,
Вижу я город прекрасный
В белом тумане,
В черном вечернем дожде.

Трубы вы, трубы,—
Бедные! —
Вы еще стары.
Вся ваша плесень —
Лишь первый пушок над губой.
Вы еще стары,
А мы уже юными стали,
Хоть мы узнали
Самую старую боль.

...Дождь,
Дождь вечерний
Сквозь водосточные трубы;
Мокрые стены,
Зеленая плесень да мох...
Ах, эти трубы!
Сделали трубочкой губы,
Чтобы
Проходим
Выболтать тайны домов.

ДОРОГА

Мягко мелькают
Яркою ночью,
Весною,
Тени листвы на пути, озаренном луною,
Как на воде
Морщинки чуть видимой зыби,
Как чешуя на спине
Серебряной рыбы.

Звон соловьиный,
Нежный и замкнутый ветер,
Сети тропинок
В сонном лесном полусвете,
И на всю ночь
Этот мир
Дорог и тропинок
Залит молчаньем,
Путниками
Покинут.

Странно мне знать,
Что никто из дома не выйдет,
Синих тропинок,
Белых дорог не увидит;
Ночи навстречу
Сердце ничье не забьется,
Мимо их снов
Ночь — незадето — прольется.

Сны о копытах мелькающих,
Сны о колесах
Юным не снятся;
Старым — не грезится посох...
Странно мне знать, как молчат сейчас
накаленно
Струны дорог, натянутые до звона.

Но и в молчанье ночном
Мне чудятся звуки:
Скрипы колес
И пыльных копыт перестуки,
В старых телегах
Песни лентяев обозных,
Полные скорби
Зовы гудков паровозных.

СЛЕДЫ

Ночь напечатала прописью
Чьи-то на глине следы.
Над плоскодонною пропастью
Эхо, как пушечный дым.
Видно, прошел тут
И шепотом
Песню пропел пилигрим;
Долго, стреляющим хохотом,
Горы смеялись над ним.

Тут не отделаться дешево,
Как бы ни крался в обход;
На смех подымут прохожего
Чудища, каменный сброд.
Пусть,
Опасаясь предательства
Отзвуков,
Путник молчит;
Стук его палки
В ругательства
Гулкая ночь обратит.

...Где это море? — вы спросите, —
Где этот пляшущий риф?
Где — без морщинки, без проседи —
Юный зеленый залив?
Где эти заросли тесные
В лунной летучей пылице?
Звери да птицы чудесные?
Люди с огнем на лице?
Гибкие пальцы упрямые, —
Чаши, цепочки с резьбой?

Эхо!
Не путай слова мои!
Я говорю не с тобой.

Но утешенье напрасное —
Только на эхо пенять:
В темное слово и в ясное
Спрятан порыв: не понять!
Слово потом разветвляется,
С ним же ветвится разлад...
 Не оттого ль замедляется
 Путь между каменных гряд?

Ночь напечатала прописью
Чьи-то на глине следы...
Над плоскодонною пропастью
Эхо, как пушечный дым.
В сумрак, исчерченный змеями,
Русло уходит, ветвась...

В путь!
Между разными звеньями
Рвусь восстанавливать связь.

II

МЕДЛЕННАЯ ВЕСНА

Не навек же узелками почки завязались,
Не гордиевыми: время развязаться!
Как медлительна весна!
И как недвижна завязь!
Только тучам не ложится — тучи мчатся.

Верба в сумерках неверных кажется зеленой,
То ли зеленеет в самом деле?
Подошла и пригляделась к ветке наклоненной —
И опять ошибка! Где же зелень?

Зелень носится, как гений, в воздухе весеннем,
Для простертых к ней ветвей неуловима.
Ни на чем. Сама собой. Зеленым наважденьем.
А наткнется на кусты — пролбется мимо...

Или это цвет коры черемух?
Или это
Смутно брезжит сквозь березу ветка ели?
Я брожу в зеленой мгле по роце неодетой,
Вижу зелень — и не знаю:
Где же зелень?

* * *

Как дрожит на ветреном закате
Солнце сквозь древесные прорывы!
Тьмы лучей
Волнуются, как пряди
Золотой взвивающейся гривы.
Перепутываются, сверкают
Фехтовальным блеском пререканья;
Новые сверкания
Свергают
С трона предыдущее сверканье...
Дымный под наклонными лучами,
Образующими царский гребень,
Зубья солнца в кудри получая,
Лес растерян, распылен и бледен.
Но уже, как занавес к закрытью,
К темноте край леса тяготеет,—
Солнце наклоняется к отплытью,
Даль слабеет, небо сиротеет.

Пятна роц
Сместились, как шальные;
Тихо от деревьев отлетели
Их полупрозрачные, двойные,
Ложные, двусмысленные тени.
И уже деревья
У преддверья
Неизвестной ночи
Задрожали,
И уже
Своим теням не верят,
Потому что тени убежали.

КОРОЛЬ ПЕПЛА

Два лагеря в различии глубоком,
Два разных мира, мы в одном равны:
Мы все под бомбой ходим,
Как под богом,
Все.
Вплоть до поджигателей войны.

Как лошадей ковбой тexasский гонит,
Вооруженье с присвистом гоня,
Вы мните, сэр, что *вас* война не тронет?
Не опрокинет *вашего* коня?
Ну, хорошо!
Допустим для примера,
Что нежит вас улыбка револьвера,
Взаимность бомбы, добродушие мин,
Что взрыв не враг вам,
Ибо вам же — сын.
Допустим, поджигатель не сгораем,—
Твердь треснула от жара, но не он.
И вот картина:
Мир необитаем,
А в центре мира — вы —
Увы! —
Громадного масштаба Робинзон.
О, с оговоркой!
Паруса не ждете
И Пятницы для вас потеряя след
(Что, впрочем, применимо и к субботе,
И к воскресенью; нет ни дней, ни лет,—
«Смешались времена», как пел поэт).

Что станете вы делать в мире этом?
Чем торговать-то?
Че-ем?
Небытием?
Бессмертьем?
Пеплом?
Но каким предметом
Мы тот же пепел с вами соберем?
Опять допустим:
Вы свершили чудо —
Нашли совочек.
Подцепив товар,
Несете.
Но зачем? Куда? Откуда?
Кто это купит?
Чем заплатит вам?
Все рынки, сэр,
Все ярмарки,
Базары,
Торговцы,
Покупатели,
Товары,
Банк,
Биржа —
Всё
У вас в одной руке,—
В одном совке.
Так что же вам еще?!
Монархи жирной нефти,
Цари угля —
Все призрак,
Все мираж...

Торгуйте же!
Не бойтесь конкуренции!
Весь уголь — ваш,
Весь дым, весь пепел — ваш!

* * *

Не пиши, не пиши, не печатай
Хриплых книг, восславляющих плоть.
От козлиной струны волосатой
Упаси
Твою лиру
Господь!

Не записывай рык на пластинки
И не шли к отдаленной звезде,
В серебристую дымку
Инстинкты
И бурчанья в твоём животе.

Верь:
Затылок твой — круглый и плотный,
Группа крови и мускул ноги
Не предстанут зарей путеводной
Пред лицо поколений других!

...Как волокна огнистого пуха,
Из столетья в столетье
Летят
Звезды разума, сполохи духа,
И страницы в веках шелестят...
Но уж то, что твоя козлоноготь,
Возгордясь, разбежалась туда ж, —
Для меня беспримерная новость!
Бедный мастер!
Закинь карандаш,
Отползи поскорее к затону,
Отрасти себе жабры и хвост,
Ибо путь от Платона к планктону
И от Фидия к мидии — прост.

ГИПНОЗ

Шипели джунгли в бешеном расцвете
У вздутой крокодилами реки,
Где обезьянки прыгают, как дети,
А смотрят — как больные старички.
Одна из них так быстро проскакала —
Лишь рыжий росчерк в воздухе мелькнул;
Как будто кто-то скрытый
Горсть какао
Сухою струйкой с ветки сыпанул.
Змея с четырехгранной головою
Взглянула на нее из-под очков
И двинулась под сводчатой травой,
Как длинная процессия значков
И крапинок... Сведенные предельно,
Казалось, эти крапинки сперва
Ходили где-то — каждая отдельно,
Но их свела полковник-голова.
Змеинный взгляд, заряженный гипнозом,
Среди сорокаградусной жары
Дышал сорокаградусным морозом...
От ужаса вращались, как миры,
Плоды граната... Перезрелый манго,
Разболтанный и вязкий, точно магма,
С дрожащей ветки шлепнулся без чувств
При виде длинной судорожной твари,
Чей трепет, инкрустации и хруст
Всё оковали, всех околдовали.

Но рыжая мартышка не проста:
Она умчалась вдаль, тревожно пискнув,
И чаща, листья вычурные стиснув,
Как руки, веки, зубы и уста,
За ней слилась...
Но что с мартышкой случилось?!
С пронзительными взвизгами
Назад,
Назад, назад запрыгала:
Казалось,
Ее, как пальцем, тронул чей-то взгляд.
Ничьи глаза, казалось бы, со взглядом
Надолго разминуться не могли,
Но странный взгляд висел с мартышкой рядом,
А вот глаза — покоились вдали.

Глаза лежали на головке плоской,
Как на тахте. Из них тянулся взгляд,
Как дым из трубки, прозрачный, но плотный,
И звал: «Наза-ад, отступница, наза-ад!»
Сквозь легионы сутолочных веток
В слепом непроницаемом цвету,
Сквозь хрупкий хруст растительных розеток,
Сквозь плотную, как пепел, духоту,
Сквозь малярийно-желтые капли
Брызгучих трав, сквозь хищные цветы
Он плыл и плел веревочные трапы,
Незримые воздушные пути
Из нитей сна;
Аркил без аркана,
Капканил без капкана,
Без силков
Осиливал;
Дурманил без дурмана,
Оковывал заочно, без оков...
Сквозь обморочные благоуханья
Болот, где самый воздух, сам туман
В цвету;
Сквозь переплеты и петлянье
Качельно-перекидистых лиан
Он проникал
С каким-то древним, давним,
Безбольным, безглагольным, безударным
И беспощадным выраженьем

(Жест
Неумолимых глиняных божеств).

И вдруг...
В листе забил воздушный ключ.
И попугай, чей клюв был ярко вдавлен
В цветную грудь, как пламенный сургуч,
А крылья глянцевитые осклизли
Зеленым блеском бронзовых зеркал, —
Вокруг сучка перевернулся трижды
И так забился, так заскрежетал,
Как будто брал недавно в общей кухне
Уроки лязга у семи котлов;
Зашаркал горлом, как ночью туфлей,
Раскашлялся, как будто нездоров,
А сам спокойно и невозмутимо
Сухим глазком глядел куда-то мимо,
Как симулянт при виде докторов.
И как бы ненароком, невзначай,
Перед мартышкой, скачущей по веткам,
Как десять флагов, пущенных по ветру,
Как пьяный факел, вспыхнул попугай.
Дивясь его цветастому смятенью,
На ветке обезьянка замерла,
И личико, изъеденное тенью
Затейливых растений, поднесла
К лучу, как ложку к супу...
Свет закапал
Сквозь листья ей в глаза,
Проник за капор
Линялой шерсти...
Сделалось светло:
Разбилось наваждение, как стекло!

Но как неясный крест оконной рамы
Стоит в глазах, уже смеженных сном,
Когда ложишься спать перед окном,
Так взор змеи, упругий и упрямый,
Еще с минуту в воздухе висел,
С минуту терпеливо ждал кого-то,
И наконец, как призрак переплета
Оконной рамы, вылинял, осел,
Сломался по частям, пропал совсем.

И вот, то сокращаясь, то вздуваясь,
Переливаясь,
Как железный дым,
И все-таки над кем-то издеваясь
Самим существованием своим,
Прохлестывая туловищем травы,
Ушла змея...

А попугай вослед

Орал ей что-то вроде: «Твар-ри! Твар-ри!
А крыльев нет! Ур-ра! А крыльев нет!..»

А может быть, той звезды уже нет?
Быть может, она, от старости,
Давно из орбиты выпала,
Как драгоценный самоцвет
Из оправы перстня?
Но ее далекий свет,
Свежий и охлаждающий чудесный свет
Вот здесь, на траве, лежит,
И долго, еще долго будет жить,
Передвигаясь
С куста на куст,
Перебираясь
Со лба на лоб,—
И к другим перейдет,
Как песня.

* * *

Что-то не знаю: спят или дремлют силы...
Не от весны —
От стужи фиалки сини;
Солнце не теплое, день догорел никчемный.
Вешняя ночь — холоднее реки подземной.

Духи славянские,
Греции древней духи,
Духи цыганские — все к моим песням глухи.
Может быть, так потому, что и песни немые?

Неразговорчивы что-то мои поэмы.

Стыд вам, волшебники, если и вы не спецы
Выслушать песни, которые — пусть! — не спеты;
Днем между рамами зимняя бьется муха, —
Мушина песня и та достигает слуха!

Щелкнула почка
На сероватой иве...
Я же молчу,
Я с целой землей в разрыве!
Где-то вдали от родных берегов кочуя,
Слышал, как пела,
Услышишь ли, как молчу я?

СТЕПЬ

Черной кажется вечерняя трава,
Медным зеркалом горит сухой закат,
И какие-то ночные существа

Мерно чмыркают и дробно тарахтят.

И какой-нибудь высокий стебелек

Сам собою, как на озере камыш,

Вдруг наклонится... Как видно, здесь,

у ног,

Кто-то кроется... А кто — не разглядишь...

Кто-то лезет в колокольчик, как в рукав,

Но не может — и спешит по стеблю стечь,

Кто-то дергает за вожжи длинных трав,

Кто-то дергает — и дергается степь.

Степь лежит, как великанша вниз лицом:

Не спеша по ней разгуливают сны...

Но как цепь ее сковал огромный сон:

Снов-малюток ей не сбросить со спины.

С тяжелой легкостью они по ней ползут

На бесплотных, но пронзительных ногах,

Как подкованный железом легкий зуд,

Зуд, где каждая зудинка — в сапогах!

Из волос ее свои знамена ткнут,

По плечам ее пасут своих коней,

И по ней своих убитых волокут,

И глубокие могилы роют в ней...

Степь лежит, как великанша вниз лицом,

И грустит она во сне, и клочья слов

Шепчет...

В эту ночь

Ее огромный сон

Размельчен на миллионы мелких снов...

Как проснуться ей?
Как плечи распрямить?
Как ей сбросить со спины печальный сон?
Я расталкиваю степь:
Перевернись!
Повернись навстречу ветру,
Вверх лицом!

* * *

Снег выпал,
Грязь вышил,
Грязь выпила снег.
Не близок ночлег,
Но близок рассвет.
Уж нынче заснуть не придется...

Как нежная пряжа, прядется
Глухой, неуверенный свет.

Снег выпал,
Согрелся в канаве,
Растаял на желтой траве...
То гуще,
То реже тонами
Плывут облака
В не окрепшей пока
Синева.

Двенадцать проталин сменялись
местами,
Какие-то тени привстали...
Дорога в тумане
Тепла,
Как рука в рукаве.

...Снег выпал,
Растаял,
Но, тая, оставил
Беззвучную речь за устами
И блеск
На промокшей, полегшей ботве.

ШАРМАНЩИК

На землю падал снег,
И кто-то пел о том,
Как жил да был старик
С шарманкой
И сурком;
Что он вставал чуть свет
И шел за песней вслед.
О том, что на земле
Шарманок больше нет.

Шарманок,
Шарманок,
Шарманок больше нет.

Скажите, а зачем
Шарманка вам нужна?
И хриплая совсем
И сиплая, она
Скрежещет, как возок,
Скрипит, как бурелом,
Как флюгер, как сапог,
Как дерево с дуплом.

Как дерево, как дерево,
Как дерево с дуплом.

Достойные друзья!
Не спорю с вами я;
Старик шарманщик пел
Не лучше соловья.

Но, тронет рукоять,
И... — верьте, что порой
Он был самостоя-
тель-
нее,
чем король.

И счастье и печаль
Звучали в песне той;
Был тих ее напев
Старинный и простой...
Не знаю, как мне быть!
Нельзя ли как-нибудь
Шарманку обновить?
Шарманщика вернуть?
— Шарманщик!
— Эй, шарманщик!
— ...Шарманщика вернуть.

III

ДУША ВЕЩЕЙ

Люблю дома, где вещи не имущество,
Где вещи легче лодок на причале.
И не люблю вещей без преимущества
Волшебного общения с вещами.

Нет, не в тебе, очаг, твое могущество:
Хоть весь дровами, точно рот словами,
Набейся — я и тут не обожгусь еще,
Не будь *огонь* посредником меж нами.

Мне скажут: брось мечты, рисуй действительность;
Пиши как есть: сапог, подкову, грушу...
Но есть и у действительности видимость,
А я ищу под видимостью душу.

И повторяю всюду и везде:
Не в соли соль. Гвоздь тоже не в гвозде.

СТАРИННОЕ СЛОВО

Поэт и слава — нет опасней сплава.
Не в пользу лбам название чела.
И часто, часто — чуть приходит слава —
Уходит то, за что она пришла.

Жужжит и жалит слава, как пчела:
С ней сладкий мед, с ней — горькая отрава,
Но яд целебный лучше выпить, право,
Чем сахарного вылепить осла!

И слово-то какое! Аллилуйя,
Осанна... И кому? Себе самим?
Как будто пятку идола целую!
(Не чьим-то ртом, а собственным своим!)

Не славлю даже славного. А то ведь —
Устану славить — стану славословить.

* * *

Мы только женщины — и, так сказать, «увы!»
А почему «увы»? Пора задеть причины.
«Вино и женщины» — так говорите вы,
Но мы не говорим: «Конфеты и мужчины».

Мы отличаем вас от груши, от халвы,
Мы как-то чувствуем, что люди — не ветчины,
Хотя, послушать вас, лишь тем и отличимы,
Что сроду на плечах не носим головы.

«Вино и женщины»? — Последуем отсель.
О женщина, возьми поваренную книжку,
Скажи: «Люблю тебя, как ягодный кисель,
Как рыбью голову! Как заячью лодыжку!

По сердцу ли тебе привязанность моя?
Ах, да! Ты не еда! Ты — человек! А я?»

СОЛОМИНКА

Эстет и варвар вечно заодно.
Их жесты, разумеется, не схожи,
Но пить из дамской туфельки вино
И лаптем щи хлебать — одно и то же.

Эстет и варвар вечно заодно.
Издревле хаму снится чин вельможи,
Зато эстету — дева, вся в рогоже,
Дну снятся сливки, сливкам снится дно.

Усищи в бочку окунает кто-то,
А кто-то сквозь соломинку сосет.
Но кто грубей? Кто низменнее? Тот
Или другой? Хоть поровну — почета, —

Из бочки можно капли извлекать,
А можно сквозь соломинку — лакать.

РЕКВИЗИТ ОДНОГО ПОЭТА

Все прелое, все квелое, томленное,
Все — шмяклое, наплывшее на край
Губы... Но в то же время все — ядреное,
Бой-бабистое, прочное, как ларь,

Брыкастое, бедрасто-беспардонное,
В большом платке, цветастом, как букварь,
Хотя притом — опять-таки — сморенное,
Сомлелое... И муть... И хмырь... И хмарь...

Должно быть, надо много умудренности;
Взопревшим надо быть, но удалым,
Чтоб совмещать теорию ядрености
Все время с чем-то прелым и гнилым.

Неуж тебе и вспомнить не случается,
Что крутосварье прелью исключается?!

ШТАМП

Словес многовековые наносы
Виною тому, что образ овдовел, —
Пергаментом повеяло от розы,
И соловей над ней осоловел.

А был Гафиз: поили розу росы.
Был Саади — и соловей звенел.
Она цвела без жеста и без позы,
Он пел без фразы. Просто брал — и пел.

Их любит мир. Весна без них не может.
Их не берут ни войны, ни века.
И все ж они зачали. От чего же?
От шума штамповального станка.

Мне страшен штамп! Мне страшно трафарета:
Он глуп, смешон, но в нем — кончина света.

МОРОЗ

Дед-лесовик не досчитал до ста,
А по снегам уже ветвится мгла.
Уже закатным облачком хвоста
Свой синий след лисица замела.

В святом венце сверкающего льда,
Как девы лик, чернеет брешь душла.
Стеклянный еж — Полярная звезда
Над голубыми соснами взошла.

Как битое стекло, звенит мороз,
Железом пахнет серый лунный свет,
В оплывах снега дремлют пни берез
Огарками задутых ветром свеч.

Лишь над берлогой слабый дух тепла
Дрожит, как пар над крышкою котла.

ЛУННАЯ НОЧЬ

В середине лунного луча
Запеклись соломенные стулья,
Как внутри серебряного студня
Косточки волшебного леща.

А луна все трудится, луца
И луца — разборчиво и скудно —
Ядра стен, белеющих подспудно,
От теней, от шелухи плюща.

Хлынул ветер... Я сошла с террасы.
Быстро под ногами стал стираться
Лунный луч в надтрещинках теней,

Резкий, как расколотая плитка.
Помутились рощи... Близко, близко, —
Чуть не по лбу — щелкал соловей.

ЖЕМЧУЖИНА

В коралловом лесу жемчужина живет,
Похожая на капельку тумана.
Баюкает ее столетья напролет
Жужжанье голубого океана.

Занятно, что ее когда-нибудь найдет
Ловец жемчужин: цепкий, как лиана,
Цейлонец или сын чужих широт.
Могучий, точно хвост Левиафана.

Кто скажет? — велика ль, мала ль ее цена
Там, под водой, где цен не назначают?
В сияние свое, как в сон, погружена,
Опасности она не замечает.

Но цену ей дадут. И сны ее — ценой —
Спугнут. А эти сны — ценней ее самой.

* * *

Пробрезжил красным листик темной зелени,
Роса упала, волос поседел.
Скажи, когда они все это сделали?
И в щелку-то никто не подглядел!

Как незаметно, призрачно приделаны
Пределы к суткам сутолочных дел!
Вот — паутинка меж кустом и деревом:
Уж не она ли в чем-то — твой предел?

И может быть, тропинкой цвета феника
По желтым листьям в рощу забредешь
И паутинку, словно ленту фениша,
На самой середине разорвешь.

И далее по этой же тропинке
Пойдешь не так, как шел до паутинки.

IV

РАДОСТЬ

У ворот июля замерли улитки,
Хлопает листьями
Вымокший орех,
Ветер из дождя
Выдергивает нитки,
Солнце сыплет блеск
Из облачных прорех.

Светятся лягушки и, себя не помня,
Скачут через камни рыжего ручья...

Дай мне задержаться
На пороге полдня,
Дай облокотиться
О косяк луча!

РОБЕРТ БЕРНС

Переплетается туман
В лощинах поутру,
Румяный вереск по холмам
Струится на ветру.
Полутемно еще в лесу,
Но к утру лес готов,
И солнце залпом пьет росу
Из листьев и цветов.

Полутемно еще в лесу,
Но солнце залпом пьет росу,
Пронзает золотом лозу,
Рябит кору дубов...

В дорогу, путник, выходи!
Ты слышишь пенье птиц?
Прохлада хлынет вдоль пути
И свет сон с ресниц.
Не зря в лугах твоих родных
Когда-то жил поэт,
Который раньше всех других
Приветствовал рассвет,

Когда бледнеет влажный лог,
И пламенеют облака,
И разгорается восток,
Как девичья щека.

Писал он песни, как дитя,
Как будто не писал,
Как будто в озеро шутя
Он камешки бросал.
Но до сих пор
По склонам гор
Слышны его шаги,
И не сомкнулись до сих пор
На озере круги.

Светло. Трава на дне видна...
Достали камешки до дна,
Но все идет еще волна
Вокруг его строки.

Пропали в склепах без следа
И герцог и барон,
Затихла праздная пальба
Раскатистых имен.
Но все идет еще волна,
И все живет певец;
Достали камешки до дна,
А песни — до сердец.

...И замка, Робин, нет прочней,
Чем песенка твоя:
Как прежде, пахарь пашет с ней,
И с нею шьет швея,
И вечерок проводят с ней
За чаркой два дружка,
И пляшет с ней
Толпа теней
В мельканье камелька.

Пронизан ею вкус вина,
Во всех ветрах шумит она,
Дождем в окно стучит она,
Когда идет весна...

Ты слышишь, Робин?
С ней кузнец
Вздывает молот свой...
Народ — навеки твой венец,
Твой памятник живой.

За то, что был ты верный сын
Своих лесов, полей,
Своих вершин,
Своих долин,
Шотландии своей,—
Спасибо, славный Робин!
Знай:
Свободным будет этот край,
Счастливым будет этот край
До окончанья дней!

* * *

Баклажаны бока отлежали,
Им наскучили долгие сны.
Возле красной кирпичной стены
Огуречные плети повяли.
 Мак потух на ветру, как фонарь;
 Лепестки, словно отблески света,
 Разлетелись — и замерли где-то...
 Солнце в небе — как в море янтарь —
В мокрой дымке, похожей на ил...
Но еще лопухи лопушатся,
Но еще петухи петушатся;
Чу! — строптивное хлопанье крыл...
 Лишь один только старенький кочет,
 Приближенье зимы ощутив,
 Кукарекнуть для бодрости хочет,
 Да никак не припомнит мотив
И слова... И в zobу застревает
Стертый хрип, неосмыслен и ржав,
И на месте петух застывает,
Бледно-желтую ногу поджав.
 Всплыли в нем ломота и томленье
 Белым пальцем грозящей зимы,
 Мрачен трепет его оперенья,
 Как пожар за решеткой тюрьмы.
Бузиной гребешок багровеет,
Льется блеск ревматичного мха
Вдоль по перьям,
И холодом веет
Чуть заметная тень петуха.

* * *

Дворник листья неохотно ворошит
Под наплывом облетающих аллей;
Полог неба предвечернего пропит
Обрывающейся ниткой журавлей.

 За рекою, отраженные в реке,
 Люди с вилами подъехали к стогам,
 Точно карлы к великаньим пирогам
 С циклопической вилкою в руке.

Веет свежестью обоих берегов,
Странной яркостью
И сказкой дышит быт;
За телегами по зелени лугов
Тучей ливневою бродит черный бык.

 Ухожу среди слабеющих берез.
 Нет улыбки в их безликой белизне,
 Тем томительнее за сердце берет
 Эта бледность, равнодушная извне.

Дети кукол рассадили возле пня
И, забыв о них, ушли за бузиной;
Куклы зябнут
И, уставясь на меня,
Отсыревшие, сидят передо мной.

* * *

Прошел, прошел,
Осыпался Новый год:
Все куклы с елки
Попадали вниз лицом...
Блестящий шарик,
Как перезрелый плод,
Свалился с ветки —
Смирился с таким концом.

Морозной ночью,
Стыдливо крадясь как вор,
Уносишь елку —
Бросаешь на задний двор,
Но завтра снова —
За шкафом и там, в углу, —
Найдешь от елки
Еще не одну иглу.

И долго будешь
От игол свой дом полоть,
А иглы будут
С укором тебя колоть —
Так тихо-тихо,
Как, долгую мысль тая,
Свою же руку
Порою кольнет швея.

РЫЖАЯ ДЕВОЧКА

Рыжая девочка в синей матроске
Села на белые доски;
Хочется ей, чтобы море размыло
Этот сыпучий
Медленный спуск...

Скользкий да мокрый, как в мыльнице мыло,
В радужной ракушке дремлет моллюск.

Ил
Обнял сваю.
Я засыпаю
И засыпаю
Песком свои следы...
Снятся мне сны
Целебные:
Рощи великолепные,
Войлочные, волшебные
Пальмовые сады!

Что ж вы не признаётесь?
Вы надо мной смеетесь!
Я не прощу вам!
Не прощу!

Но солнце тоже смеется надо
Мною. Ну, значит, так и надо;
Если солнце смеяться
Перестанет —
Я загрущу.

...Юбочки клеш надевают медузы
И световые рейтузы
И уплывают на праздник свеченья,
Перед собой
Держа зеркала...

Сыплются, сыплются искры теченья,
Синим огнем обгорает скала...

Что там?
Витрина
Или
Ветрило?
Ах,
Я забыла:
Где море, где земля...

Световыми рекламами
Рыбки по небу плавали,
Плавниками из пламени
Медленно
Шевеля...

Что ж вы не признаетесь?
Вы надо мной смеетесь!
Я ни за что вам
Не прощу!

Но солнце тоже смеется надо
Мною... Ну, значит, так и надо;
Если солнце смеяться
Перестанет —
Я загрузу.

ВОДОПАД

Дышит осень незаметно
На деревья и кусты —
И от ветра и без ветра
Опадают с них листы.

И листом осенним с неба
В море падает звезда;
Не вернуться ей на небо,
Не вернуться никогда.

А водопад —
Он не то что листопад.
Не печалит он, а радует
Там, где падает;
Водопад не листопад,
Водопад не звездопад —
Он веселый от макушки и до пят.

Водопад,
Падай всласть!
Можно пасть, чтоб не упасть,
И упасть, чтобы не пасть
И все на свете не проклясть.
И грохочет водопад,
И хохочет невпопад,
Словно хочет в этой пропасти пропасть.

Ручеек стремится в пропасть —
Грозной бездны патриот:
Разве в пропасть нужен пропуск?
Пропусти его вперед!

Но едва преодолееет
Он запретную черту —
Обомлеет,
Обмелеет,
Спрячет камешки во рту.

А водопад,
Как веселый акробат,
Вызываемый на «бис»,
Летит, летит с уступа вниз...
Водопад не листопад,
Водопад не звездопад —
Он веселый от макушки и до пят...

Водопад,
Падай всласть!
Можно пасть, чтоб не упасть,
И упасть, чтобы не пасть
И все на свете не проклясть.
...И грохочет водопад,
И хохочет водопад, —
Силы жизни,
Силы счастья в нем кипят.

ПИНГВИН

Как сосулька с отколотым кончиком,
Или звон столкновения льдин,
Или птичье крыло с колокольчиком,
Призвенелось мне слово «пингвин».

Что такое «Пин Гвин»?
Где разыскивать?
А какой он, Пинг Вин?
Как живет?
Над снегами зеленоискрыми
Седоватый запел самолет.

Каждый день пробегал необыденно:
С пестрой песней, с простертой рукой...
А когда я пингвина увидела,
Оказалось: пингвин не такой!

Никогда не летающей птицею
Был пингвин. Но, пожалуй (как знать!),
Не являл ли собой репетицию
Тех пингвинов, что будут летать?

Потому что отвергнутым чучелом,
Снежной куклою, вкопанной в лед,
Он глядел, как тускнеет за тучами
Прилетающий за ним самолет.

Он стоял, уменьшаясь беспомощно,
На расставленных ножках своих
И как будто придумывал поручни,
Чтоб скорей ухватиться за них.

РЫБАЧКА

Низко над морем летела снежинка,
С нею напев мой осенний сложился:
Как снежинка

на щеке

распалась,

Так растаял

вдалеке

твой парус.

Дым на бурых крышах...

Гавань в ярко-рыжих

Листьях

И чешуйках

Рыбьих;

Чайки с криком гневным

Бьют по водным гребням

Черными концами

Крыльев...

А-а-а...

Маленький остров, поселок неяркий.

Там, у поселка, ты станешь на якорь;

На костре уха вариться будет.

Ветер с моря котелок остудит.

И огонь погаснет

В сумерках нежных,

В сумерках, как сон

Капризных...

Море беспокойно...
Сеть на серых кольях,
Будто на ходулях
Призрак...
О-о-о...

Я не печалюсь, хотя я и рыбачка:
Что мне печалиться, что мне рыдать-то?
И рыбаку уху готовить может,
И рыбачка рыбу ловит тоже...

Тенью подбородка
Волны ловит лодка —
Сяду, поплыву
На отмель;

В раковинках белых
Откачнулся берег,
Будто отболел
И отмер...
А-а-а...
О-о-о...

КАРАВАН

Мой караван шагал через пустыню,
Мой караван шагал через пустыню,
Первый верблюд о чем-то с грустью думал,
И остальные вторили ему.

И головами так они качали,
Словно о чем-то знали, но молчали,
Словно о чем-то знали, но не знали:
Как рассказать,
 когда,
 зачем,
 кому...

Змеи шуршали
Среди
Песка и зноя...
Что это там?
Что это там
Такое?
Белый корабль,
Снастей переплетенье,
Яркий флажок, кильватер голубой...

Из-под руки смотрю туда, моргая:
Это она!
Опять —
Фата-моргана!
Это ее цветные сновиденья
Это ее театр передвижной!

Путь мой далек.
На всем лежит истома.
Я загрустил: не шлют письма из дома...
«Плюй ты на все! Учись, брат, у верблюда!» —
Скажет товарищ, хлопнув по плечу.

Я же в сердцах пошлю его к верблюду,
Я же — в сердцах — пошлю его к верблюду:
И у тебя учиться, мол, не буду,
И у верблюда — тоже не хочу.

Друг отошел и, чтобы скрыть обиду,
Книгу достал, потрепанную с виду,
С грязным обрезом, в пестром переплете, —
Книгу о том, что горе не беда...

...Право, уйду! Наймусь
К фата-моргане:
Стану шутом в волшебном балагане,
И никогда меня вы не найдете:
Ведь от колес волшебных нет следа.

Но караван все шел через пустыню,
Но караван шагал через пустыню,
Шел караван и шел через пустыню,
Шел потому, что горе — не беда.

ФОКУСНИК

Ах ты, фокусник, фокусник-чудак!
Ты чудесен, но хватит с нас чудес.
Перестань!
Мы поверили и так
В поросенка, упавшего с небес.

Да и вниз головой на потолке
Не сиди — не расходуй время зря!
Мы ведь верим,
Что у тебя в руке
В трубку свернуты страны и моря.

Не играй с носорогом в домино
И не ешь растолченное стекло,
Но втолкуй нам, что черное — черно,
Растолкуй нам, что белое — бело.

А ночь над цирком
Такая, что ни зги;
Точно двести
Взятых вместе
Ночей...
А в глазах от усталости круги
Покрупнее жонглерских обручей.

Ах ты, фокусник, фокусник-чудак,
Поджигатель бенгальского огня!
Сделай чудное чудо; сделай так,
Сделай так, чтобы поняли меня!

* * *

Осень.

Тишина в поселке дачном,
И пустынно-звонко на земле.
Паутинка в воздухе прозрачном
Холодна, как трещина в стекле.

Сквозь песочно-розовые сосны
Сизовеет крыша с петушком;
В легкой дымке бархатное солнце —
Словно персик, тронутый пушком.

На закате, пышном, но не резком,
Облака чего-то ждут, застыв;
За руки держась, исходят блеском
Два последних, самых золотых;

Оба к солнцу обращают лица,
Оба меркнут с одного конца;
Старшее — несет перо жар-птицы,
Младшее — пушинку жар-птенца.

КУВШИНКА

Все цветы на первый слух молчат:
Там, в лесу, и дальше, за ручьем...
Все цветы — на первый слух — молчат,
Если их не спросишь ни о чем.

Да, но ветер, пчелы и роса,
Чуть касаясь их раскрытых ртов,
Кажется, любые голоса
Могут сделать голосом цветов.

Но кувшинка молчаливей всех.
Сколько ни стою на берегу, —
Но кувшинка молчаливей всех, —
Я ее расслышать не могу.

Горло ль ей сдавила глубина?
Тайна ль тайн под ней погребена?
Но кувшинка
Молчаливей всех:
Все поют — молчит она одна.

Я плутала у тяжелых вод,
Я старалась к ней найти подход —
Все напрасно: полчище болот,
Как на грех, кувшинку стережет.

Полчище болот-бородачей,
Скопище чудовищных ночей,
Сонмы сов, бессонных, как на грех...
О! Кувшинка
Молчаливей всех.

ЛЕС

Кедры, сосны корабельные — я не знаю почему —
Пели песни колыбельные беспокойству моему.
Хвойный воздух душу связывал и темнел и вечерел,
Но щавель мне путь указывал наконечниками стрел.
 Шла процессиями длинными копьевидная трава,
 Пни шуршали древесиною и крошились, как халва.
 Колокольчиками белыми ландыш косо моросил,
 Выворачивались бельмами на ветру листы осин.
Луч ломился в норку беличью... Уж — блеснул у самых
ног,
Как набитый медной мелочью старый бабушкин чулок.
Было что-то в нем старинное — от подсвечников витых,
Как тащил он тело длинное в кольцах темно-золотых.
 И о том, что день кончается, прилетел прохладный
вдох —
 Вдох болота, где курчавился на слезливой кочке мох.
 Там теперь стоял, наверное, журавель, понутив нос
 И в застывшее мгновение погружаясь... Вот и ночь...
Вот и звездочка далекая повисает в синеве,
И ромашка одинокая растворяется в траве.

ЕЖ

Комочек игл и грустных размышлений —
Конфузливый
Густой и пестрый еж!
Опять сидишь
В своем колючем шлеме
И воздух недоверчиво жуешь.

Спишь на полу, а думаешь о птицах
Среди перебегающей листвы...
Держать ежа в ежовых рукавицах
Природой не дозволено! Увы!

Настанет май, — блеснет зеленый выход.
Задвигутся виденья по канве
Твоей судьбы.
Мы дверь откроем тихо;
Ты побежишь — и скроешься в траве.

ЛАСТОЧКИНА ШКОЛА

1966—1972

ОГОНЬ ВДАЛЕКЕ...

ДОЖДЯ ТАК И НЕ БЫЛО...

День,
С утра подточенный,
В тучи взятый заживо.
Душное пустынное тепло.

Бабочку, что только что
По цветам зигзажила,
Вдруг
Косым порывом унесло.
Заспешило облако,
Что стояло льдиною
С белым человеком на борту...

Странно-обоснованно
Вдруг пахнуло тиной
От кустов акации в цвету.

Шорох...
Между ветками
Быстро вдруг просунется
Профиль ветра,
Бледный и резной...
Радостные запахи
В воздухе тасуются;
Лето состязается с весной.

Хоть весна прошла уже,
Хоть перед верандою
Пухом, пылью, сухостью метет,
Где-то там, над омутом,
Тайно, контрабандою,
Все еще черемуха цветет.

Где-то память о весне
Капельками нижется,
Где-то предгрозово и темно...

А пчела не прячется:
Неподвижно движется
Над жасмином, как веретено...
Мгла идет шеренгами.
И учусь у лета я,
Как теням на пятки наступать...
Теневую линию
По траве преследуя,
Солнце разрастается опять...
Что ж вы, тучи, медлите?
Нуте-ка! Давайте-ка!
Сумрак нежен... Холод мне смешон...

Снится мне приветливый,
Полный одуванчиков,
Долгий
Летний
Сон.

ЗЕЛЕНЫЙ ДОЖДЬ

Дождь зеленый шумел по канавам,—
Шла балладная мшистая мгла.
Дождь зеленый к деревьям корявым,
Засверкав, прислонял зеркала.

Шел на клены, березы, репы,
На шатры лопушиного стана,
И Сатурновы кольца тумана
Надвигал на лиловые пни.

Под травой наудачу ступая,
Хворостинки цепляя клюкой,
Прозревает фиалка слепая,
Продирает глазок голубой.

Пень, поросший зеленым сукном,
Пень, казавшийся утром конторкой,
Пахнет ветра основой тонкой,
Ливня ландышевым полотном...

Ветер линзой струи прогибает.
Вижу мимику мглы. Загребущ,
По замшелым стволам
Пробегаёт

С треском факельным каплющий плющ.

Там — черемуха валится с ног.
Там, отринув непрочный канатик,
Прямо в воздух шагнул, как лунатик,
Дуя в ниточный рупор, вьюнок...

Теплый вихрь метет по дубравам.

Прогибаемые струи

Под дубами, в разрыве кудрявом,

Искры стряхивают свои.

Мнится: там, за кривящейся мглой,
Все в зеленом, стрелки Робин Гуда
Топят печку внутри изумруда,
Бледный пламень вздувают полой.

Старый ясень трясет головою,
Дерзко молниям смотрит в лицо.
По ручьиистой стене
Ветровое,
Теневое катит колесо...

А за этой стеной, не шутя,
В полусне, в полутьме стекловидной
Май сияющий, май безобидный
Подрастает,
Как в сказке дитя.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Наконец, утомясь и опомнясь,
Шум докучный дожди прекратили.
Но закрытым остался шиповник,
Будто в лампе огонь прикрутили.
 Ночь дымила в плетней перелазах,
 Сучья щелкали, капли мигали,
 И вершины расщепленных вязов
 Серым трепетом перебежали.
В лужах, полных небесной весной,
Тени вязов — как трубы органа.
Замираешь над бездной такою,
Хоть воды в ней — не больше стакана.
 Соловей
 Из пространственной трели
 Строил своды, раскатывал залы...
 Развернуться цветы не хотели,
 Но и так (про себя) были алы.
Тихо лужи стояли по саду,
Точно лампы с остатками масла,
И за всеми их стеклами кряду
Молчаливая молния гасла.

* * *

Цвел ли, не цвел ли в низине жасмин,
В легком тумане — сквозил, не сквозил?
Бедный сказитель минувших годин,
Все-то ты выдумал, все исказил!

Знаешь другое, а помнишь — одно.
Твердую быль отгоняешь, как дым.
Мутное, сорное, черное дно
Все тебе кажется дном золотым!

Царственным шагом проходят года,
Краденым блеском украсив чело...

Черпать из детства мы будем всегда,
Хоть бы и не было в нем ничего!

Ал ли, не ал ли был ранний закат?
Звал ли, не звал ли огонь вдалеке?
Темной дорогой ушел Фортунат, —
Звон самозванный в пустом кошельке.

ЛАСТОЧКИНА ШКОЛА

Ударил опера громом
Над миром притихшим и серым,
Над племенем, с ней незнакомым.
Но первым запел менестрель.

Но первая песня — за нищим,
Но первая — за гондольером,
За бледной швеей,
За старухой,
Качающей колыбель...

Журчит — пробивается к свету,
Сочится из каменной чаши...
Бежит — прорывается к свету,
То руслом пойдет,
То вразброс...
Поэмы — аббатства большие,
Романы — империи наши,
Симфония — царство мечтаний,
А песня — республика грез.

Как синее небо, простая,
Над синими
Льнами.
Как синее небо, простая,
Народная...

(Даром что царь
Давид запевал ее встарь!)

Она подымается к солнцу,
Как жаворонок над нами,
А к ночи спускается в море,
Как тонущий нежный янтарь.

Как синее небо смиренна,
Проста и смиренна.
Как синее небо смиренна,
Как небо горда...

Ее распевает извозчик,
Погонщик поет вдохновенно...
Но жуткая тишь на запятках:
Лакей не поет никогда.

...Не нам шлифовать самоцветы.
(И думать-то бросим!)
Не нам шлифовать самоцветы
И медные вещи ковать:
Ремесла сначала изучим. Но песню, —
Но песню споем — и не спросим;
Нас ласточка петь научила,
И полно о том толковать!

Напрасно сухарь-мейстерзингер
Грозит нам из старых развалин,
Напрасно
Перстом величавым
Нам путь указывает педант:
Волов погоняющий с песней
Цыган — непрофессионален,
Простак-соловей — гениален,
У жаворонка — талант.

И пари нет между парий
(Бродяг, дервишей, прокаженных,
Слепых, на соломе рожденных
Под звон андалузских гитар),
Босейшего меж босяками,
Дерзейшего из беззаконных,
В чьем сердце не мог бы открыться
Таинственный песенный дар.

...Бежит,
Прорывается к свету
Родник Непокоя священный,—
Тростин перезвон драгоценный,
Гром кузницы, тайна, вопрос...
Посмотришь: большие романы —
Как Цезарем взятые страны,
Симфония — царство мечтаний,
Но песня — республика грез.

ОКНО

Окно открыто в сад весенний и дневной.
Блеск подоконника разглажен тишиной.
Толчками, точками — в окно влетают пчелы...
В нем гибко сцеплены жасмин, горошек, мак...
 От пламенности дня в глазах веселый мрак —
 Секунда слабости веселой.
До красных кирпичей дотронулся вьюнок,
Как тонкое жабо до грубых красных щек.
В тени камней стены еще дымится влага...
Окно не высоко, и есть упор для ног,
А там — прогретый путь и долгий день для шага.
 Как странно между тем, что птицы не поют!
 Слышны лишь редкие отрывистые фразы...
 Многозначительный таинственный уют.
 Лишь сыплется труха, где птицы гнезда вьют,
 И тушью полночи свой полдень пишут вязы.
На запертый сарай в заброшенном углу
Роняет бузина отравленные розы...
Там,
На кирпичном (или каменном) полу
Сарая — призраки, настроивши пилу,
Танцуют, дергая друг друга за полу...
Но в жарком блеске дня смешны мне их угрозы!
 ...Повсюду легкий скрип, шуршанье и возня:
 Тень птицы на траве — живая закорючка...
Из прутьев свежести, из тайны и огня
Дневные тени птиц плетут корзину Дня.
Тень птицы трудится, не глядя на меня...
Что ей поручено? Дно, стенка или ручка?

Где я?
В каком конце их сети золотой?
В каком углу весны?
В каком краю корзинки?
...Мне дятел бросил кисть из тушечницы хвой...
И странно воспарил над общей пестротой
Воздушною чертой бумажный змей тропинки.
Все, все мне нравится! Шуршанье по верхам,
В траве — ломти коры, лесных жуков коврижки,
Перемещение птиц, как в лавке опахал.
И низкий свет кустов, где вспархиваний вспышки.
Смешались весело понятия в голове...
Не хочется гадать и думать над вещами.
Плывут виденья дня по светлой мураве,
Над ними бабочки — где по три, где по две...
А в чаще
Ночь и День
Меняются плащами.

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

Телом слабый, но сияньем — сильный,
Точно дух, пузырь явился мыльный
Изнутри соломинки сквозной.

Пусть живет!
Он пить и есть не просит.
(Хоть и сам дохода не приносит
Даже там, где жертвует собой.)

Все его бранят за то, что мало
Он живет. (Еще недоставало
Долго жить, где все тебя бранят!)

А дадут ли жить на свете долго?
Скажут: «Век чужой заел без толка...»
Эх! Не в том, так в этом обвинят.

Брань его покрыла толстым слоем,
Как броня. И если мы усвоим,
Сколько он за свой короткий взлет

Успеваает вынести нападок, —
Век его совсем не так уж краток:
Счастье кратко, долог век невзгод.

Слышал он проклятья кредиторов.
В счет его росли счета в конторах,
Яхты в море, виллы на горах...

Что же сам он видел, кроме мыла?
Да и мыла с ним не больше было,
Чем бывает в мыльных пузырях.

Оттого, что пуст и легковесен,
В честь его никто не сложит песен.
(Ибо скальдов вещие уста

Только Весом бредят повсеместно.
И уж если вещь тяжеловесна,
Ей простится, что она — пуста.)

...На его чуть дышащую хрупкость
Сваливают собственную грубость.
«Он такой надутый!» — говорят...

Правда есть. Но логику — найду ли?
Ведь *не он* надул! — *его* надули!
А сорвать на нем же поровят.

С мыльными связавшись пузырями,
Не к чему глядеть на них зверями;
Ну какая вам от них беда?!

Пусть хоть раз, — хотя бы в миг полета, —
И они порадуют кого-то;
А потом исчезнут без следа.

ПОЭТ

Поэт, который тих, пока дела вершатся,
Но громок после дел, — не знает, как смешон.
Поэт не отражать, а столь же — отражаться,
Не факты воспевать, а действовать пришел.

В хвосте истории ему не место жаться.
(По закругленью дел — кого ожжет глагол?!)
Он призван небом слов, как Зевс, распоряжаться.
Он двигатель идей. Он — основатель школ.

Что значит «отразил»? Скажите, бога ради!
Поэт не озеро в кувшинковых заплатках:
Он — боль и ненависть, надежда и прогноз...

И человечество с поэтом на запятках
Подобно армии со знаменосцем сзади
И с барабанщиком, отправленным в обоз.

СВЕТОВАЯ БОЧКА

Наездник-мальчик с горы спустился:
При нем ружье, а на нем ковбойка.
А с горизонта
Свет катился
С треском и грохотом,
Как бочка...

Был день для мальчика только начат:
Сверкали камушков острия...
В пустыне встретились
Свет и мальчик, —
И мальчик выстрелил из ружья.
 Был выстрел вверх,
 Были песня и смех,
 И пыль столбом,
 И спиралью — свет,
 И конь кружился внутри луча,
 Остатки тени своей топча,
Как топчут пламя, пока не поздно...

Вдали синели разрывы чащ...
А свет — не крался, не плыл, не ползал:
Скакал, как бочка,
Шумел, как плащ...
 Как плащ под ветром, вздувались горы,
 И ткань пустыни слегка взвилась...

А бочка света распалась на створы,—
Кругами в озеро улеглась.

Я знаю много других событий,
Живых, как пятнышки в манго-луне,
Но все бледней они,
 Все забытей,
И гаснут,
 Гаснут
 Они во мне...

СОЛНЦЕ ОСЕННЕЕ...

Солнце осеннее
Нежаще
Греет гряды облаков:
Это моржовое лежбище,
Пастбище дымных быков.
Гибкого моря волна,
Осыпи дюн безучастные,
Сосны до окиси красные,
Медные дозелена...

Между пеньками сосновыми
Позднее солнце ловлю.
...И без основ, и с основами —
Чайки кричат...
Я люблю
В море их блеск меловой,
В воздухе лапки сафьянные,
Тонкие вопли стеклянные,
Крылья, как сабельный бой.
Нитями, стружками,
Пробами
Цеха, не то — кустаря,—
Нет! — ремешками для обуви,
Лавкою чеботаря
Водоросли рядком
Вдоль побережья расстелены,—
Тонким песком приметелены,
Выбелены ветерком.

Знаю, что все это кружево —
Моря кушак вырезной,
Творчество волн перетруженных —
Смоет такой же волной.

(Что ей простая трава!
Надо стихиям прожорливым,
Чтобы скрипели под жерновом
Только шедевры:

Едва

От ювелира, от резчика,
От живописца картин...)

Вот только первая трещинка
В берегу;
Только один

Сдвиг на песке водяной,—
А уже с моря опознаны
Блудные травы...
И позваны
Страшной морской глубиной.

Весь этот ворох: соломки,
Лыка, подошвенных швов —
Зыбким хозяйством паломника
Стронуться с места готов...

(Шнур, переплет, перехват —
Смутный прообраз сандалии...
Что-то от пройденной дали,
Всё — от позвавшей назад.)

И в тишине разговорчивой
Слышу я голос немой
(С моря — такой неразборчивый!):
«Страницы-травы! Домой!»

Словно питомцев своих
Мать позвала бесприютная...

Может быть, я сухопутная,
Вот мне и страшно за них?

ВЕСЕЛЬЕ ЖИВОПИСИ

ИНЕЙ

На рассвете, в сумерках ледовых,
Хор берез был выше и туманней.
И стояла роща, как Людовик,—
В сизых буклях изморози ранней.

Но опять, за далями пустыми,
Красное, как будто после бури,
Встало солнце с мыслью о пустыне
В раскаленно-грезящем прищуре.

По коре взбирался, укреплялся
На ветвях его огонь раскосый,
И кудрявый иней выпрямлялся,
Делался водой простоволосой.

Иней таял, даже не стараясь
Удержаться в легкой сетке чащи,
Уменьшаясь,
Точно белый страус,
Отвернувшийся и уходящий.

ПЕЙЗАЖ-ПОСЫЛКА

Ступлю на голое серебро,
Стану под каменное перо, —
Сразу в дыханье нехватка.

Лето
Лавочкой зеленой
Тихо захлопнулось
За спиной.

Инея
Передо мной
Реющая рогатка.

Красные гроздья рябины в снегу.
В снегу

Яблоко, гнущее ветку в дугу.
В снегу

Косы осоки на скользком лугу,
В снегу

Резкая зелень на каждом шагу.
В снегу

Забытый,
В грядку забитый
Колышек алой морковки...

Жаляще-свежие нити касаются лба...
Этот пейзаж мне прислала японцев
хохочущая толпа
В тоненькой, прорванной в тысяче мест,
упаковке...

Веретеном прорывая
Снег,
На дороге
Свекла лежит кормовая.
Теплым пятном размывая
Снег,
Чернеется свая
Старенького моста...
Старое дерево сваи
Летним всегда остается.
И не при виде ли свайного
дерева —

Снег сдается?
Снег покидает захваченные места...
Солнце
С блистающе-плоским
Дном-сердцевинной
Снежный картон отправляет обратно
С почтою голубиной:
Шелковое письмо с тростниковым
наброском,—
В воздухе после него — сахаристые пятна.

* * *

Возле ольхи высокой
Кусты — зеленая челядь.
За огненной осокой
Скользит вечерний лебедь.

Желтое небо лета
Искоса подогрето
Еще не взошедшей луною.
Ночь, в молодом полете,
Кисточкой водяною
Пишет рисунок ветел.

В воздухе — тополь серый
Нежен, как роговица.
В кустах
Ночная птица
Чиркнула адской серой...

День с алебардой мака,
Став на песок незвонкий,
Спит,
Увлекаемый мрака
Бархатною воронкой...

Звездам навстречу травы
Вытянулись несмело.
Ночь
Глубиной курчавой
Вкрадчиво прошумела.

К уху подкрались дали,
Ветхий сарай сыреет...
Слеп и сиренев,
Лебедь плывет в печали.

ВЕСЕЛЬЕ ЖИВОПИСИ

I

Кисть весела, и живопись красна.
Твои печали — не ее печали,
И о тебе не думает она;
Ей — только бы тона не подкачали!

Ей все равно, чье «Утро на причале»,
Чем «Богоматерь» вправду смущена
И заработали или украли
Лилового, на крючьях, кабана...

Лишь Гойя цену знает кабану.
Лишь Брейгелю натурой не упиться!
Но их-то я как раз не в живописцах,
А в страстотерпцах горьких помяну:

Ведь ложь они презрели бескорыстно,
А истина — совсем не живописна!

II

КРАСКИ И МЫСЛИ

Да здравствуют художники-французы!
Рисунок влажен, свеж и полустерт,
Но в этой мгле все так же синемблузы
Рабочие... Все так же полон порт

Волн и гудков и праведностью горд.
Все те же с миром радостные узы...
Все те же ветлы, мельницы и плюзы...
Но что за странный, сорванный аккорд?

Откуда фальшь? Душой неблагодарной
Мне не постигнуть мудрости бульварной,
Не дорости до двойственной красоты,

Мне режут слух неслаженные спевки:
Сколь дик и странен образ грязной девки,
Составленный... из капелек росы!

III

ВИДЕНИЕ

Заката в долах жар животворящий.
Но лозы в гневе. Рдея,— плеть за плеть,—
Пошли, как трещины в стене горячей,
Как щели ада, лающе алеть.

Мне снится кардинальский — то напевный,
То ржущий пурпур. Битвы ржавый свет.
До треска красный, пушечно-полдневный,
Владетельный, громово-алый цвет.

Предел бесстыдства на лице безбровом.
Впервые запылавшая щека
Низвергнутого в ад ростовщика.
Вельможный плащ. Клеймо на родниковом
Челе блудницы. Странно жжет глаза
Мне в тихий вечер тихая лоза.

IV

ЛОЗА ВДАЛИ

Лоза в кудрях, лохмотьях и огне,
Как беглый узник замковых развалин;
Он плащ порвал и руки окровавил,
Спускаясь на веревках по стене,

Но, в двух прыжках от выцветшей травы,
Внезапно замер, даль обозревая,
Скосив глаза на варварские рвы
И в хитрости холмы подозревая...

За этим красным ветровым пятном,
Как за огнем, слежу глазами детства
И вижу битвы, скованные сном,
На месте завертевшиеся бегства,

И неподвижный залповый огонь
Смеживших веки, грезящих погонь...

* * *

За санаторием, что скован «мертвым часом»,
Чья задняя стена к реке обращена,
Обрывы лепятся к сияющим террасам,
Цветут подснежники и носится весна.

Спускающимся в ров крапивным темным массам
Значительность лесов дарует тишина.
Весенний склон горы — как дикая страна
С глядящим из кустов печальным папуасом...

Не бойся «странности», в душе хранимой свято!
Не бойся лестницы, с которой вниз когда-то
Скатился красный мяч... И укатился он

Туда, где страх весны и детский ад крапивы,
Где по террасам спуск вдруг перешел в обрывы,
Подснежник — в горький плач, и остальное — в сон.

ЖИЗНЬ И КНИГА

I

Философы, вникающие в Суть!
Художники! — блистательное племя,
Чья жизнь — мечта, надежда, подвиг, бремя! —
На ваш пример мне страшно и взглянуть,

Чтоб «книжной» не прозваться как-нибудь...
Почтенней вас, выходит, даже семя
Крапивы, презираемое всеми:
Его-то ведь не грех упомянуть!

Что! Даже черт (не к ночи будь помянут!)
Опять-таки звучит при свете дня.
А скажешь: «Кант», — и днем их уши вянут.

Стою без слов над тайной непостижной:
За то ль зовусь «нежизненной» и книжной,
Что буквы книг так живы для меня?

II

Я не с листа писала на листок,
Я не из книги в книгу заносила,
Но знаю: книга — жизненный исток.
Пресс Гутенберга — жизненная сила.

Я на рембовском «Пьяном корабле»
В цитатный порт ни разу не являлась.
Но я «литературностью» Рабле,
Я «книжностью» Эразма вдохновлялась.

«Оторваны» мои учителя
От «гущи жизни» — как никто на свете!
Гомера ворошат чего-то для,
За тогу римлян держатся, как дети...

Смешно сказать! Им слышится из книг
Такой же — человеческий! — язык.

III

Живой да будет каждая строка!
Из жизни черпай злато размышлений!
Но жизнь — помилуй! — разве так ярка
И так сильна, как выраженный гений?

Не хмурь многозначительно бровей,
Не покрывайся складками страданий!
Всего полней (не спорь!), всего живей
Жизнь гения и жизнь его созданий.

А нет,— оспорь Шекспира. Вот где зло!
...За окнами бушует Лондон ярый:
Там с ловлей фактов больше бы везло,—
А он корпит над летописью старой.

Не в жизни взял: с пергамента «списал»!
Но кто нам сердце глубже потрясал?

* * *

Весной, весной,
Среди первых подслеженных,
С поличным пойманных за рукав,
Уже вывертывается подснежник
Из слабой раковинки листка.
Шуршит девятка фиалки трефовой
На низких вытянутых ветрах...
Летят, как перья по шляпе фетровой,
По голым землям метелки трав.

Весна скрывает свое блистание.
Но дышит, воздушных полна пузырьков,
Неплотным слоем — хвоя старая,
Где много ландышевых штыков,
Соринок, ветром с плеча сдуваемых...
А там — спускающийся узор
Подводных листьев, как чай заваренных
В красно-коричневой чаше озер.

...Мокрые оси утиных вселенных —
Свищут тростинки в углах сокровенных.
Ветер...
Вставая на стремяна,
Мчит полувидимая Весна.

Скачет сухой, неодетой дубровой.
Конь ее сер и опутан травой...
В темной ствольбе —
 амазонки лиловой
Неуловимый наклон ветровой.

Так и у птиц
Сквозь перо ледяное,
Тусклое,
Кажется, видишь весною
Медно-зеленый под бархатом крест.

Так, между пнями,
Во мгле перегноя,
Неуследимый лиловый подтекст,
Мнится, читаешь...

ПЕРЬЯ ДЛЯ СТРЕЛ

КОНЕЦ АВАНТЮРИЗМА

Он, я знаю, считает себя очень ловким,
потому что поступает подло...

Бернард Шоу (письма)

I

СУМЕРКИ ГРЕХОВ

Старинные багровые светила
Больших грехов склонились на закат.
Но добродетель их не заменила.
На смену — похотлив, жуликоват —

Пришел Грешок. Но многие твердят:
«В нем — демонизм, огонь, свобода, сила...»
Что ж, повторим: столетья три назад,
Наверно, в нем, и правда, что-то было?

Когда он виселицы украшал,
Монастырей каноны нарушал
(По грозной схеме: Страсть. Позор. Темница...).
Но нет картины жальче и мерзей,
Когда, свободный, с помощью друзей,
Трус и пошляк над честностью глумится.

Не поминай Дюма, узнав авантюриста.
Увы! Сей рыцарь пал до маленьких страстей
И ужас как далек от царственного свиста
Над океанами терзаемых снастей.

Уж не фехтует он. Верхом в ночи не скачет.
Не шутит под огнем, на голову свою.
А трусит, мелко мстит, от ненависти плачет...
По трупам — ходит ли? О да! Но не в бою.

Неведомы ему и той морали крохи,
Что знали хитрецы напудренной эпохи:
Он даже *дерзостью* их вольной пренебрег,

И *наглостью* берет (нарочно спутав слово).
Ах! Добродетели падение не ново:
Новее наблюдать, как низко пал порок.

* * *

Кудри, подъятые ветром,
Вольный, порывистый вид...
С дикой скалы
Обыватель
В бурное море глядит.

Платье на нем пилигрима,
Посох убогий при нем.
Щеки что розы рдеют,
Очи пылают огнем.

Рев комфортабельной бури,
Страстный, восторженный сплин...
Все в этом мире возможно:
Даже моряк-мещанин!

Сказку Сервантеса вспомнить
Рад иногда и сервант:
В нем затрепещут бокалы,
Словно заржет Россинант...

Лавочник
Любит дукаты,
Но и к мечтам не суров...
(Тонет «Летучий Голландец»
С грузом голландских сыров...)

Все выполнимо на свете!
Словно молоденький ствол,
Раз
Под рукою поэта
Посох цветами зацвел...

(С тополем, корня лишенным,
То же бывает весной...)
Все в этом мире возможно
(Кроме безделки одной).

Только одно невозможно
(Хоть и не стоит труда):
Палка с душлом для дукатов
Не зацветет никогда.

* * *

Что значит «мещанин» — как следует не ясно.
Непознаваема его земная суть.
Пытаясь уловить его природы ртуть,
Умы сильнейшие срываются напрасно.

Одно устойчиво, одно бесспорно в нем:
Всегда романтика была ему отрада!
Он — дерзостный Икар (когда лететь не надо),
Пустынный Робинзон (при обществе большом).

В его понятии смешались воедино
Стриптиз и... Золушка. Сервант и бригантина.
Доспехи ратника — и низменная лесть...

О, как бы он желал безумства Дон Кихота
Безумно повторить! (Но из того расчета,
Чтоб с этим связанных убытков не понести.)

АКУЛА

Акула быстрая, с бездушной парой глаз —
Идея голода без мантий и прикрас!
С полуразинутым, как при вдыханье мухи,
Ртом-полумесяцем, прорезанным на брюхе,
Ртом, перевернутым тоской, концами вниз...

Промозгла и сыра, как мраморный карниз.
Но преисполнена убийственного пыла,
Тяжеловесная как скачущее мыло,—
Неутолимая акула южных вод!

В огромный мир морей ты заслонила вход.
Секуще проносясь над полушарьем ярким,
Ты строишь из прыжков зеркальных
Арки, арки...
Из блеска — без конца
Ворота создаешь,
Но ни в одни из них проникнуть не даешь.
Чтоб, выбившись из сил, мы крикнули: «Природа —
Храм в тысячу дверей без выхода и входа»?
Но мерзко хлопанье скачков твоих:
Ты лжешь!

ГРЕЦИЯ

И когда пресловутые римляне
Греков дремлющих покорили,
И рядиться по-гречески стали,
И по-гречески заговорили,
 Грубым римлянам мода на эллинов
 Подошла, как корове седло.
 А захватническое достоинство
 В этом случае не помогло.
Ослепили богов прозорливых
И напыщили величавых.
Что-то сделали вроде завивки
Их волос, от природы курчавых...
 На таинственных вещих искусствах
 Отпечатался нудный размах
 Вроде пуговиц на воротах
 Или кружев на жерновах.
Можно видеть на римском примере,
Как, в безбожно-неистовой вере,
Неумеренность поклонялась
Удивительной эллинской мере.
 (Чувство меры не слишком ли скромно
 На земле, чьим сынам не восстать?
 Чувство меры должно быть огромно —
 Победителю Риму под стать!)

Перекормленные колонны,
Многоярусные подбородки...
«Замечаешь ли, что у Флавия
Что-то греческое в походке?»
 И решили (для полного сходства)
 Меру греков, рванув, растянуть
 До персидских границ. Безобразными
 Золотыми гирляндами грудь

Разукрасить у греческих статуй,
Вдохновенно-пропорциональных...
И не слышать подсказа в напевах
Песен греческих, сладко-печальных.
(Под влиянием Парфенона! —
Чуть не кольца таская в ноздре),
И не смыслить ни в доблести пленников,
Ни в награбленном странном добре.

...Посягают на ядра и зерна,
А крадут оболочки да шкурки!
Есть парящие в воздухе клады,
До которых ни персы, ни турки
Не прорубятся...
Вот так победа!
С победителем
Самый трофей
Обращается как победитель,
Угрожающий в сути своей.

Никогда не пришло возмездие.
Никогда оно Риму не снилось.
Безобидно расположились
В римском климате греческий стилос,
Песня, чаша да тень колонны —
Скарб,
Ничем не грозящий пока
(Разве ненавистью поколений,
Простирающейся в века).

Небожители олимпийцы
Приспособились к жалкому плену:
Бог войны дезертировал в цирки,
Кровь и смерть перенес на арену.
Артемида — игра и охота —
Приусловила к богу войны...
Только грозные стрелы Эрота
Из губительных стали смешны.

Растворилась Греция в Риме,
Как жемчужина в чаше яда.
Этот выветренный по крохам
Ветхий берег — уже не Эллада.
Этот грунт испитой, сыпучий,
Омываемый не спеша,
Только храм, а не жрец во храме.
Только тело одно — не душа.

Но взгляни за черту горизонта,
Вдаль, где острые ласточки вьются,
Где с душистых темнеющих пиний
В стадиона гигантское блюде
Каплют сумерки нежной смолою,
Где укроповый вечер свежей,—
Что за облачко в небе витает,
Окруженное стражей стрижей?

Там витает —
Фиалковолоса,
Копьеносна, пестрообута,
Бестелесна, как ворох тумана,
Как плывущая в небе Лапута,
Суверенна, неуязвима,
Непонятна, не пленена —
Неподвластная воинам Рима,
Неизвестная Риму страна.

ПЕСНЯ СВОБОДЫ

Из дальних стран пришел бродяга нищий
И все бродил по улицам Мадрида.
Но не просил ни крова он, ни пицци:
Он только пел, пел для тебя,
Старый Мадрид.

При первом слове той чудесной песни
Склонились девушки со всех балконов,
Весь город ожил, улицы воскресли,—
Смеялся, плакал и вздыхал
Старый Мадрид.

— Где были вы, сеньор, все эти годы?
Где прятали ваш голос, ваши песни?
И неужели музыка Свободы
Всех песен вам дороже и милей?

— Я был в изгнанье, под холодным солнцем,
Но не жалел, что полюбил Свободу:
Кому дано за родину бороться,
Тот чаще всех живет в разлуке с ней.

И снова, снова струны трогал странник,
И трепетал жасмин в садах Мадрида...
Летели дни... А патриот-изгнанник
Все звонче пел, пел для тебя,
Старый Мадрид!

Когда же враг в Испанию ворвался
И черный дым затмил чело Мадрида,—
Он как герой на улицах сражался
И с честью пал. Пал за тебя,
Старый Мадрид.

МЕЧТА О НЕДРУГЕ

Не могу расстаться с вами я без боя...

«Песнь о моем Сиде»

- 1 Искать себе врагов прямых, как солнце юга,
Открытых, царственных — не велика заслуга:
Как можно требовать, дружище, от врага,
Чего не требуют обычно и от друга?
- 2 Напрасно, старина, в мечтании прелестном
Ты мыслишь о враге прямом, открытом, честном.
Крепись! Бери его таким, каков он есть:
Злым, хищным, маленьким, тупым... Неинтересным...
- 3 И враг же у тебя! Отвага в честном взгляде,
Лежачего не бьет, не нападает сзади...
Послушай! Вот тебе пяток моих друзей,
Но этого врага — отдай мне, бога ради!
- 4 Я недругу за ложь коварством не плачу,
Но нежность к недругу мне вряд ли по плечу.
Стараюсь поступать, как долг повелевает.
Позволь хоть чувствовать мне так, как я хочу!
- 5 С ним ладишь, кажется, а он грозит борьбой.
Но другом скажется, когда объявишь бой.
Ни дружбы, ни вражды, скотина, не выносит!
Нет, не таких врагов искали мы с тобой.
- 6 У деда моего был, сказывают, враг:
В раздоре — золото, сокровище для драк:
Не сразу нападет, а крикнет: «Защищайся!»
Никто, никто уже теперь не крикнет так!..

ЧУЖОЙ

Из-под семи своих венцов заря подглядывает, как
Десяток яблок-падунцов аллея спрятала в рукав.
Внутри плодов — как будто тень, и солнцу трудно их
узнать.

Так откатившихся детей не узнает родная мать.

Пока в неведомом краю заря блуждала в царстве сна,
В ночи на сторону свою перетянула их луна.

И, уж отмечены луной (как тот, кто жив, но видел ад),

Как мрамор тягости ночной, на солнце яблоки лежат.

...В росе, в росе листва дубов и облетевшая — свежа.

И светят шапочки грибов, как масло, снятое с ножа.

Но кабы с каждой вещи снять заклятья знак, молчанья
мрак,—

И пни могли бы рассказать, что есть у этой рощи — враг.

Чужой был ночью в сердце астр! Суровой тайной их
ожгло.

И отпустило... И прошло... Но улыбнуться —
уж не даст.

Я слышу,
Я слышу крыла ее грузные,
О, эти порхающие жернова!
Летит она
Прозорливо
И слепо,—
Движением тяжким и скорым, как шок.
 Летит клочковато,
 Летит нелепо,
 Летит, как зашитая в серый мешок
 С косыми прорезями для глаз...
Как пляска ладьи, где отшибло и руль и компас,
В воздухе свежем танец ее корявый...
Прочь, абсурдная,
Прочь!

 ...За черной, как пропасть, канавой
 Стеклобно блистают кусты,
 как сосуды с целебным настоем,—
Это вступление в ночь...

Ночь.

Как столбики и как дуги,
Над теплым,
Над сиротливым простором
Стоят неподвижные звуки.

ПЕСТРЫЙ ЛАРЧИК

* * *

Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — дух!
Равнообъемлющий дух. Но поэт
Выберет главное даже из двух.

Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — плоть.
Что ж не ко всяческой твари поэт
Может гадливость в себе побороть?

Определенья поэзии нет.
Мы бы назвали поэзию — сном.
Что же ты в драку суешься, поэт?
Вправе ли спящий грозить кулаком?

Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — явь.
Что же ты в драку суешься, поэт,
Трезвому голосу яви не вняв?

Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что в поэзии — суть.
Так отчего же — за тысячи лет —
Ей от сомнений нельзя отдохнуть?

...Есть очертанья у туч грозовых,
А у любви и у музыки — нет.
Вечная тайна!
Сама назовись!
Кто ты, поэзия? Дай мне ответ!

Кто ты и что ты?
Явись, расскажи!
Ложь рифмошлета тщеславия для?
Так отчего же столь горестной лжи
Тысячелетьями
Верит земля?

ПЕРЕВОДЧИК

Вильгельму Вениаминовичу Левкину

Кто мог бы стать Рембо? Никто из нас.
(И даже сам Рембо не мог бы лично
Опять родиться, стать собой вторично
И вновь создать уж созданное раз.)

Но переводчик — вот он! Те слова,
Что рáз дались, но больше не дадутся
Бодлеру, — диво! — вновь на стол кладутся...
Как?! Та минутка хрупкая жива?

И хрупкостью пробил срок столетний?
Пришла опять? К другому? Не к тому?
Та муза, чей приход (всегда — последний)
Предназначался только одному?!

Чу! Дальний звон... Сверхтайное творится:
Сейчас неповторимость — повторится.

БАЛЛАДА КРУГА

Счастья искать я ничуть не устала.
Да и не то чтобы слишком искала
Этот зарытый пиратами клад.

Только бы видеть листочки да лучики...
Только бы чаще мне были попутчики:
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И рощи несумрачный взгляд.

Но измогильно, откуда-то снизу,
Жизнь поднялась. И под черную ризу
Спрятала звезды, восход и закат...
Ну и повисила ж, ведьма, в цене
Это немного, нужное мне:
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И рощи несумрачный взгляд!

Ну, я сказала, раз так, я сказала,
Что ж! Я сорву с тебя, жизнь, покрывало!
А не сорву — не беда. Наугад
В борьбе с тобою,
В борьбе с собою,
В борьбе с судьбою
Добуду с бою
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И рощи несумрачный взгляд!

Глупо, однако, что посланный на дом
Воздух и лес, колыхавшийся рядом,
Надо оспаривать, ринувшись в ад,
Дабы, вернувшись дорогой окольной,
Кровью купить этот воздух привольный,
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И рощи несумрачный взгляд...

Вижу я даль с городами громадными,
Дымные горы с тоннелями жадными,
Грозного моря железный накат,
Но не схожу с великаньего тракта
В поисках трех лилипутиков! Как-то:
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И рощи приветливый взгляд...

Так из-за нужного массу ненужного
Робкий старик накупил. И натужливо
В тачке увозит томов пятьдесят —
Ради заморыша-специприложения!

Где вы?
За вас принимаю сражение,
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И рощи таинственный взгляд!

...Что же лежу я под соснами старыми?
Что не встаю обменяться ударами?
Пластырем липнет ко лбу листопад.
Латы росой покрываются мятые.
Жизни вы стоили мне, растреклятые! —
Тень на тропинке,
Полет паутинки
И роща, где вязы шумят.

ПОЗНАНИЕ

I

СТРАХ ПОЗНАНИЯ

Познание — скорбь. Как на огне каштан
Трещит по швам, так сердце рвется в Хаос.
Но страх познания кончится. А там —
Опять начнется радость, доктор Фауст!

Та радость будет высшей. Но усталость
И вековечный страх мешают вам
Из-под руин отрыть бессмертный храм,
Хоть до него и дюйма не осталось.

Смертельно страшных шесть открыв дверей,
Ученый муж захлопнул их скорей,
Седьмой же — и коснуться побоялся.

А именно за ней рос чудный сад,
Где пел источник, вспыхивал гранат
И день сиял и тьмою не сменялся.

II

ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ

Не заботясь о конце благополучном,
Сшиблись яростно, как бык и матадор,
Открывателя веселенький задор
С угрожающим открытием научным.

Да свершается науки торжество!
Открывателя не гложет червь сомнений:
В тайну вечности его вникает гений,
Но вникает ли и гений: для чего?

Ради шума? Ради приткности спортивной?
Ради Истины? (Уж слишком «объективной»,—
Равнодушной, как чудовищная ложь?)

Благо там, где не капральская отвага
Станет спутницей астролога и мага,
А руки предупреждающая дрожь.

III

КАК ЭТО СДЕЛАНО?

Мир — цельным вижу я, как юноша Новалис.
Мир — песня, спетая одним движеньем губ.
На звуки разломать и песню рад анализ,
Но звук, отщепленный от песни,— страшный труп.

Мы тайной бытия силком овладеваем.
Вопросы праздные натуре задаем:
«Как пламя сделано?» — и пламя задуваем.
«Как песня сделана?» — и больше не поем...

Не странно ль? — тьму считать исследуемым светом?
Воззрясь на проигрыш, судить о барыше?
Взорвать — и смерть вещей потом считать ответом
На каверзный вопрос об их живой душе.

Отчаянно стремясь понять по разложению
Мир, только в целостности доступный постиженью!

РОЖЬ

Страшно мне за рожь перед грозой!
Вот уж пополудни скоро шесть,
В ней же и разгневанному зною,
И дневному блеску место есть.

В красной мгле ее сухих разливов
Будто шерсть горящая трещит,
Будто электрический загривок
Медных кошек... Будто медный щит
Собранного к битве полководца,
Рдеет поле с трещиной межи:
Искры неба ждет — не дозвется
Искра, затаенная во ржи.

Но безвредней капли застучали,
Благодушной, чем земля ждала.
В каждой капле тлел заряд печали,
Но угрозу ночь превозмогла.

Сломанные, смятые плюмажи
Тихо уронив за край земли,
Навзничь, как подкупленные стражи,
Пьяные колосья полегли...

Подобрался низенький туманец,
Упаковку блеска разорвал,
Затаенный в воздухе румянец,
Как живую розу, своровал...

Не боюсь огней небесной боли!
Мне не страшно искры той сухой.
Поскучнев, межа уходит с поля
И, намокнув, гаснет за ольхой.

ОШИБКИ ЗАВИСТИ

Зависть есть признание себя побежденным.

Скрябин

- 1 Честность работает. Мудрость вопросы решает.
Зависть — одна лишь! — досуга себя не лишает.
Ах! Не трудом же назвать неустанное рвенье,
С коим она и труду и таланту мешает.
- 2 Даже завидуя гению, зависть ленива,
Даже завидуя диву труда — нерадива,
Даже завидуя доброму делу — злонаравна,
Даже завидуя правде — коварна и лжива.
- 3 Будь осторожен! Завидуя славной судьбе
Славного брата,— по скользкой же ходишь тропе!
Сам рассчитай: посягнувши на всю его славу,—
Все его подвиги делать придется тебе.
- 4 Где та гора, что завистники встарь своротили?
Где те моря, что завистники вплавь переплыли?
Очень бы я почему-то услышать хотела
Истину ту, что завистники миру открыли!
- 5 Люди всему позавидуют, надо — не надо.
Если вы Гойя — завидуют горечи взгляда,
Если вы Данте — они восклицают: «Еще бы!
Я и не то сочинил бы в условиях ада!»
- 6 «Хочешь ли видеть собрата простертым у ног
Или в него самого обратиться разок?» —
Дьявол спросил у завистника. Но одновременно
Оба заказа — и дьявол исполнить не мог!

ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Ключи от подземелий подсознания
Звенят опять на поясе моем.
Сегодня я, заблудшее создание,
Сойду туда с коптящим фонарем.

Как воют своды в страшной анфиладе!
А впрочем, выясняется в конце,
Что все подвалы наши — на эстраде.
Все тайны, как посмотришь, — на лице.

У нас и подсознание — снаружи.
Все просто: нам получше — вам похуже,
Кот хочет сала, палки просит пес.
Успех собрата мучит нас до слез.
Но чтоб до истин этих доискаться,
Не стоит в преисподнюю спускаться!

ЛИКИ ЛЬДА

Как зима беспредельна!
У льда одного — сколько ликов!
Кувыркающихся,
Составляющихся
Из бликов,
Задирающих бровь, недовольных, зеленых, грозящих,
Пропускающих свет и скольженье лучей тормозящих...

С убегающим взглядом, вертящихся, как на шарнирах,
Акварельных, игрушечных, радужных,
линзообразных...

Сколько ликов и видов!
То сыростью нежных и сирых,
То по-царски алмазных, то нищенски-бедных
и грязных...

Пушки солнца палят. Разрываются блеска снаряды.
Поднимаются в воздух сверканья лежалого склады,
И лучей арсеналы взрываются. Но молчаливы,
Но безмолвны, беззвучны, безгласны их залпы и взрывы...

Сколько ликов у льда!
Он подобен, вертясь перед вами,
Отражению в ложке, в зрачке, в колесе, в самоваре.
Но его отражения — сжатей, подавленной, глуше:
Будто издали, искоса в зеркало смотрятся души,
Подойти не решаясь и честно в стекло поглядеться.

Чтобы глянуть прямее им надобно долго вертеться,
Приспосабливаясь, пристраиваясь, переминаясь,
Уменьшаясь, кончаясь, вытягиваясь... Начинаясь
От другого конца... И, как зонт осьминога, сминаясь...

Ну а что, если вдруг остановится скользкая рама?
И фантомы зимы подойдут и посмотрятся прямо?
И откроешь, дрожа, что и вечность не беспредельна?

Я люблю эту даль. Я боюсь этой дали смертельно!

Сколько ликов у льда!
Он бывает пустым, облегченным,
Серым, сетчатым, перистым, мокрым, весенним, сеченым,
Черным, пильчатым, ржавым, дыханьем тепла омраченным,
Мутным,
Грозным,
Слепым...
С чем-то красным, внутри запеченным...

В поздних сумерках бурая льдина гнетет, беспокоя:
Что за душная тень угнездилась в холодном
и светлом?!
Как растает,— вернуться, взглядеться, узнать:
что такое...
Может статься, весной наважденье развеется с ветром?

Но всегда по весне забываешь о каверзной льдине,
И, скорей чем о льдине, о тени в ее середине,
И, скорей чем о тени, о месте, где, словно с пожара
Головня остекленная,— странная льдина лежала...

О зиме без конца, о тоске без конца и начала
И о всей многоликости льда...

ПЕСТРЫЙ ЛАРЧИК

- 1 Кто умен — не хитер. Кто хитер — не умен.
От начала времен до скончания времен
Неизменным останется вечный закон:
Кто умен — не хитер. Кто хитер — не умен.
- 2 Скупой берет за все: за чувство раздраженья,
С каким он грабит вас (в порядке одолженья),
За кукиш, каковой он сам же вам подносит...
Ведь кукиш *тратится* в процессе подношенья!

ПЛАГИАТОР

- 3 И плагиатор ценит тон любезности.
Зови ж его не хищником словесности,
А... сборщиком фольклора безымянного
В среде поэтов мировой известности.
- 4 Мудрец вопросы миру задает.
Дурак ответы скорбные дает.
(К тебе, глупец, как раз не обращались;
Ведь ты и есть причина всех невзгод!)
- 5 С холодностью снегов мы чистоту связуем,
Но «жизненным теплом» блудливость именуем.
Скажи: нельзя ли быть и чистым и живым?
Трагический исход — неужто неминуем?

- 6 Сто тысяч лет подряд погонщик бил осла.
Сто тысяч лет подряд из раны кровь текла.
Но кто дерзнет сказать, что в мире не хватало
При этом «трепетности, ласки и тепла»?
- 7 Шалуны Языка, ослепительные пустомели!
А видать, не напрасно вы так в языке нашумели?
Это бунт обычайности, скрипку ломающей с треском,
Чтоб никто не узнал, что играть вы на ней не умели.
- 8 «Что есть Истина?» — голос раздался в ночных небесах.
Обратясь к Языку (что всегда как солдат на часах).
А Язык — промолчал. Потому что «решительной ломке»
Подвергался как раз... И стоял в это время в «лесах».
- 9 Есть, есть разрыв — ручаюсь головой! —
Меж сущностью и формой стиховой:
От формы — пляшешь, носишься, летаешь...
От сути — ковыляешь, чуть живой...
- 10 — Чего тебе, тоскливое созданье?
— Мне дайте форму. Но — без содержания.
Я формалистка. Ибо только форма
Еще не причиняла мне страданья.
- А МЕНЯ ОСЕНИЛО!
- 11 За что седой Восток так долго и упрямо
Хайяма избегал? А тут была программа:
«Коран или Хайям», — сказали мусульмане
И так естественно избрали... не Хайяма!
- 12 Какие ни имей жестянщик недостатки,
Не отразиться им на мировом порядке.
Философ и халиф! На мягком воске мира
Лишь *ваших* слабостей застынут отпечатки.
- 13 Поэт не о себе скорбит. Как ни тяжка
Зависимость певца от черствого куска,
Стократ ему больней, что от куска зависят
Умы, характеры, народы и века.

- 14 В дыму интриг, убийств и зуботычин
Лишь Летописец сдержан и приличен.
Держись, не падай! Ибо в целом мире
Один за всех ты должен быть логичен.
- 15 Когда заносчивость припишут вам лукаво,
Но и на равенство у вас отнимут право
И каждой курице дозvoлят клюнуть вас,—
Ловите этот час и знайте: это — слава.
- 16 Не верь, что постоянство приедается.
Такая мысль ничем не подтверждается:
Когда ж успело б нам приесться качество,
Которое так редко попадается?

НЕБОЛЬШОЕ УТОЧНЕНИЕ

- 17 Поскольку в историческом потоке —
Не вдруг поймешь — где доблести, где склоки,—
Давай не на историю молиться,
А на ее отменные уроки!

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

- 18 Вбежал и уязвленно заявил:
«Сальери никого не отравил!»
Возможно. Но спустя два века после странной
Кончины Моцарта — откуда этот пыл?
- 19 Бесчинства объясняются войной.
Зловредный нрав — природою дурной.
И только честь ничем не объяснима.
Но верить можно только ей одной.

АРГУС

1

...Он же гений...

А. Пушкин

Глупцы, пускаясь в авантюру,
С одной лишь низостью в душе,
Себе приписывают сдуру
Всю авантюренность... Бомарше!
Естественно, у бомаршистов
Ум изощрен, размах неистов:
Сейчас дракона обкрадут!
Змею вокруг пальца обведут!
Но...
Жертвы их корысти страстной,
Как поглядишь со стороны,
То беззащитны, то больны,
То простодушны и несчастны...
Так верят в добрую судьбу!
Столь кротко носят на горбу
Груз незаслуженных мучений,
Что Бомарше
(Добряк и гений!)
Перевернулся бы в гробу.

2

НА ПОЭТА, ПИНАЮЩЕГО СОБАКУ

Поэт,
Пинающий собаку,
Божусь,
Не вступит с тигром в драку.

И не напишет, хоть убей,
Ни «Илиад», ни «Одиссей».

А в довершение обиды,
Не сотворит и «Энеиды».

У лорда Байрона был пес,
Любимый Байроном
Всерьез.
«Друг самый верный, самый близкий», —
Писал о нем поэт английский...
А ты — собаку пнул ногой.

Нет, ты не Байрон! Ты — другой...

3

Одному коллеге

Если в сочинительстве любом
Надобно влияния искать,
Думаю, что яростный Рембо
Вашей музе взялся помогать.

Нет сомнений! — вас ведет Рембо.
Как мужик с соломой в волосах,
Как силач, способный ткнуть в ребро,
Ну и... как хороший коммерсант.

4

ОБРАТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ

Шелковистый бейт я делаю из камня.

Рудаки

«Я из камня сделал шелковое слово», —
Некогда сказал великий Рудаки.
Да. Но он не знал, что переводчик

Снова

Сделает кирпич
Из шелковой строки.

«Поэзия должна быть глуповата», —
 Сказал поэт, умнейший на Руси.
 Что значит: обладай умом Сократа,
 Но поучений не произноси.

Не отражай критических атак,
 Предупреждай возможность плагиата...
 Поэзия должна быть глуповата,
 Но сам поэт — не должен быть дурак.

АРГУС

Когда впаду в какую-либо страсть,
 Я внутреннего сторожа встревожу.
 «Почто, — спрошу бессмысленную рожу, —
 Даешь мне лгать, подглядывать и красть?»

«Но случай-то, — польстит мне нечестивец, —
 Особенный! Как на голову снег!
 Другим нельзя. А это лжет — правдивец.
 Подглядывает — честный человек!»

ШПАЛЫ

За осинами, за дубами,
За склоненными к далям столбами
Серой станции стон лебединый
Пролетает по линии длинной.
 За осинами сыро, овражно,
 Тени ночи болезненно-впалы...
 Только там хорошо и не страшно,
 Где высоко проложены шпалы.

Вечерами тоски и печали
Хоть немного меня занимали
Эти жирные черные доски, —
Эта лестница в детском наброске.
 Эта частая клавиша сажки,
 Нота стойкая (даже не гамма!),
 Эта дума одна и та же,
 Повторяемая упрямо.

Черных мыслей не зайтожить,
Как ни встряхивай, опыт, копилкой...
Шпалы — словно одно и то же,
Умножаемое копиркой.

 Но пространство их гордо лелеет,
 Руки мрака ласкают сурово,
 И песок между шпалами тлеет
 Теплым зеркалом света дневного.

Даже в полночь, — как тонким мученьем
В низком проводе поет доука, —
Между шпал неусыпным свеченьем
Утро теплится чуть близоруко.

 Вьюга ль кольцами снег завивает, —
 Не бывают холодными шпалы;
 Вечно издали их нагревает
 Звук довременный,
 Звук запоздалый.

И покуда теплом нагнетанья
Поезда не нагреют их сами,
Греет их
Поездов ожиданье
И прощание с поездами.
 Паровозик ли в дали заклятой
 Только-только приходит в движенье,—
 А уж катится искра-глашатай
 Возвестить о его приближенье.
Если ж ливни из туч опрокинут
Оружейную лавку булатов,—
И под ливнями шпалы не стынут,
Как рабочие руки мулатов.
 Даже в самом пустынном отрезке,
 Где уж хочется выть захолустью,
 Звуки в рельсах так бодры и резки,
 Так не вяжутся с тягостной грустью!
И в лесах, где затворница-зелень —
Как подтек на стене монастырской,
Где под черным пожатием елей
Дух надломится — хоть богатырский,
Где сугроб залежался апрельский,
От молчанья лесов — одичалый,
Есть железная логика — рельсы.
Есть надежная истина — шпалы.

Вижу дым паровозный над пашней,—
Недвижима у дыма вершина...
Слышу клик сиротливо-протяжный,—
Будто джинн прокричал из кувшина
На далекой черте горизонта,
На пустынном прилавке заката,
Где вечернее свежее золото
Израсходовалось куда-то...

Грустью вечера пахнет железо,
Уголь, камень... Беззвучные галки
Оседают на волосы леса,
Как старушечьи полушалки...
Из лощин
Полузвуки истомы
Вырастают, как рожки улиток.
Это ночи больные фантомы
Или прозы дневной
Пережиток?

Ничего мне о том не известно.
Но хотя бы там, дальше, геенна,—
Как мне странно и как мне чудесно,
Что дорога и впредь — несомненна!

...Глядя под ноги зачарованно,
Вижу тень паровозного свиста.
И в лучах семафора червонного,
Как бы спичек, наструганных ровно,
Ровный счет в голове трубочиста...

Я шагаю по этим ступеням,
По добротным, испытанным теням:
Путь по шпалам не может не сбыться.
Невозможно на нем заблудиться.

Сам их вид подгоняет и греет,
Вроде нарт, управляемых взглядом;
Мощь пространства у насыпи реет,
Как погонщик, шагающий рядом...

За штакетником шпал
Пробегают
Дух Порядка (чумазый, но свежий),
И меж пальцев их черных
Мелькает
Белолобый рассвет побережий.

ЧЕЛОВЕК

Сквозь туман заблуждений, сквозь дебри сомнений
Пробирается вдаль человеческий гений:
Зажигает фонарь на вершине маячной,
По тростинке проходит над пропастью мрачной,

В тяжких недрах земли обливается потом,
На серебряных крышах стоит звездочетом,
Над морями на тихом летит монгольфьере,
Разбивается насмерть на личном примере.

Он на землю приходит то пылким Икаром,
То бесстрашным и добрым Алленом Бомбаром,—
Личным другом Надежды, врагом Заблужденья,
Чья рука равносильна руке провиденья,—

Фермопильским вождем, капитаном «Кон-Тики»,
Человеком, бегущим на дальние крики...
Летописцем, исполненным вешего рвенья
Никого не забыть, кроме пугал забвенья.

В каждом веке он первый. Но в деле, в котором
Подозренье в корысти покажется вздором,
Где никем не могло бы тщеславие двигать,
Где гляди не гляди, а не выглядишь выгод:

Между койками ходит в чумном карантине,
Служит крошечным юнгом на бригантине,
Над полями сражений, как в тягостной сказке,
Кружит ангелом с красным крестом на повязке...

И на крылья свои, с неизвестной минуты,
Надевает суровые тайные путы,
Чтобы в грусти своей и себе не сознаться,
Чтобы в самом страданье своем — не зазнаться.

Ибо нет на земле и не будет деянья,
Чтобы стоило ангельского одеянья.
Ибо странно мечтать о блаженстве небесном,
Не ходив по земле пешеходом безвестным.

Сквозь туман заблуждений, сквозь дебри сомнений
Пробирается вдаль человеческий гений:
Зажигает фонарь на вершине маячной,
Чтоб горел его свет, как венец новобрачной.

И приходят титаны в раздумье глубоком,
И кончаются в муках, когда ненароком
Застревают, как стрелы, в их ноющем теле
Их конечные, их бесконечные цели.

Убегаем от чар, возвращаемся к чарам,
Расправляемся с чарами точным ударом...
...Далека же ты в небе, звезда Идеала!
Но стремиться к тебе — это тоже немало.

ПИТЕР БРЕЙГЕЛЬ-СТАРШИЙ

(Поэма)

Хула великого мыслителя угоднее богу,
чем корыстная молитва пошляка.

Ренан

В палаццо и храмах таятся,
Мерцают, полотна и фрески.
Зажгла их рука итальянца
И скрылась в их царственном блеске...

Даль в дымке, одежды цветущи,
Фигуры ясны, но не резки.

На ликах
Огня и покоя
Слиянием — кто не пленится!
И все же (строка за строкою)
Всегда (за страницей страница)
Я Питера Брейгеля буду
Злосчастная ученица.

Ах, лучше бы мне увязаться
Вослед за классическим Римом!
Не так-то легко и солидно
Брести по пятам уязвимым,
Ранимым... За Брейгелем-старшим,
За Брейгелем неумолимым.

Прозренья его беспощадны,
Сужденья его непреложны.
Его дураки безупречны,
Его богомольцы — безбожны,
Его отношения с вечной
Бессмертной Гармонией — сложны.

Его плясуны
К небосводу
Пудовую ногу бросают,
Как камень из катапульти...
Старухи его
Потрясают
Лица выражением тыльным
На пиршестве жизни обильном.

...Однажды
За ветками вязов,
Меж сонных на солнышке хижин,
Увидел он пир деревенский.
И понял, что пир — неподвижен.
И только, пожалуй, бутылки
На этом пиру не застыли.

Увидел детину-танцора.
И красками в памяти выжглось,
Что фортелей в танце — изрядно,
Но главное в нем — неподвижность.
А с публикой тоже неладно,
И главное в ней — неподвижность.

Молчанье росло, невзирая
На стук деревянных бареток.
Был танец такой деревянный —
Как пляска хмельных табуреток!
И ста языков зеплетанье...
И все это — разве не тайна?

И молния быстрой догадки,
Что некий мясник мимолетен,
Как перышко, как сновиденье!
Хотя предостаточно плотен,
И нет на лице трепетанья.

Не странность ли это? Не тайна?!

Сплошной, носовой, анонимный
И ханжеский гомон вольнонок
Зудел, обволакивал танец
Волной звуковых паутинок...

Но странным молчанием тянет
От гульбищ на этих картинах.

И слышу: как музыка листьев —
(Тишайшая!) — голос пронесся:
«Те фортели были недвижны
Задолго до их переноса
На Брейгелевы полотна!
То, плотное — было бесплотно!..»

Симпатией приятной
К художнику влеком,
Хохочущий Заказчик
Бряцает кошельком.
Он ехал из Брабанта, —
Звенели стремена,
Позвякивали шпоры,
Как звякает казна.
Звенела вся лошадка:
Ступив на поворот,
Копилочною щелью
Ощеривала рот.
Он ехал из Брабанта, —
Пунцовый от вина...
И нес
Весенний ветер
С деревьев семена...

...Он смотрит на картину.
Он пятится назад.
Он бьет себя по ляжкам
(И ляжки вдруг звенят).

Он мастера находит,
В простой беседе с ним,
То Брейгелем Мужичким,
То Брейгелем Смешным...

Воистину, зрелища явны:
Кто стал бы скрывать показное?
На публике зрелища зреют,
Как рожь под ударами зноя.

Тем более дорого стоит,
Кто тайное в явном открывает.

О, каверзный Брейгель!
Простейшие пьянки и пляски,
Как жуткую тайну, открыл он.
Как заговор, предал огласке.
И взгляд уловил моментально,
Что это действительно — тайна.

Не тайна — пещеры драконов
И пропасти черной Гекаты.
Таинственен
Подслеповатый,
Приплюснутый,
Тусклый,
Бессвязный,
Создания перл компромиссный,
Творенья венец безобразный.

Таинственно все, что ничтожно.
Таинственно,
Невероятно!
Понятьем объять невозможно.
И, значит, оно необъятно!
Великое измеримо.
Ничтожное необъятно!

Бессмертие вовсе не странно,
Но смерть изумляет, ей-богу!
...Прогнать ее тщась,
Неустанно
Названивал Брейгель тревогу:
Веревки на всех колокольнях,
Звоня,
Оборвал понемногу...

Как блики на пряжках башмачных,
Как срезки мертвецкой фланели,

Как сыр,— у натурщиков жутких
Створоженно бельма тускнели,
В последней картине «Слепые»,
Застыв на последнем пределе.

С тех пор,
Подвернувшись попутно,
«Слепых» принимает канава:
Извечно,
Ежеминутно...

Но где же Гармония, право?
Где длинные трубы-фанфары,
Звучащие так величаво?!

Ступает Гармония ровно,
Нигде не сбивается с шага.
Один ее взор,
Безусловно,
Для нас наивысшее благо!
А плащ ее — ветер весенний
Для целого Архипелага.

Верна, постоянна, урочна
Как Разум, Душа и Святыня.
Но жаль: не указано точно,
Где именно
Эта богиня
Слоняется?
Лес?
Катакомбы?
Край пропасти?
Пустошь?
Пустыня?

Я карту дорог раскатаю,
Я путь ее, в шутку, размечу...
А спросят: «Гармония — сказка?»
«Чистейшая правда!» — отвечу,
Но я-то пока не питаю
Надежды на личную встречу.

А есть же на свете — ей-богу! —
Счастливики, вещие люди:

Они ежедневно, помногу,
По их показаниям судя,
Гармонию зрят!
И свободно
Об этом калякают чуде!

Ну что же!
К юродивым часто
Нисходит святой в ореоле.
По-свойски: с какой-нибудь пастой
Иль мазью от мелочной боли...
А вместо святого явиться
Не может Гармония, что ли?

Но даже прохвосты (обычно
Причастные каждой святыне,
А им-то уж точно и лично
Известны приметы богини!)
Не чаю, когда разобяжут
И где ее встретить — подскажут.

Гармония!
В мире не мирном,
Скрипящем, наморщенном, сложном,
Готовом низвергнуться в бездну
При слове неосторожном, —
Дурак, ограниченный малый —
Один гармоничен, пожалуй.

Гармония?
Сладко мечтая,
На древних руинах Эллады
Один восседал бы. Другие
Сидеть на сегодняшних рады,
В развалинах греясь привычно,
Вписав себя в них гармонично,
Публично
Крича от придуманной боли
В действительно трудной юдоли.

Антверпен покидает
Заказчик-пилигрим.
Занятных две картины
Слуга везет за ним.

На будущей неделе
Заказчик будет сам
Потешные картины
Показывать гостям.

...Боярышник пушистый
Сиял ему в глаза...
А где-то за холмами
Невнятно шла гроза,
И тщетно пилигриму
Шептал вечерний зной,
Что Брейгель — не Мужичкий,
Что Брейгель — не Смешной,

Что, может быть, не стоит
Гостей-то приглашать?
Что в мир приходит гений
Не тепить, а мешать,

Что страшно он смеется.
(Не там ли, за холмом,
Он, кашляя, смеется,
Как сумеречный гром,
Большие бочки смеха
Куда-то вдаль катя?..)
Но ты дремли! Не бойся,
Усатое дитя!

Закат поджарил рощи
На бронзовой воле...
Спи телом,
Спи душою,
Спи дома,
Спи в седле...

...При мысли о душах несложных,
Разгадывать кои не надо:
К раскрытию коих
Подходят
Ключи от амбара и склада, —
Всегда ли резонно — не знаю,
Но Брейгеля я вспоминаю.

При мысли о лицах недвижимых,
В тугом напряженье покоя

(На задней стене мыловарни
Всегда выраженье такое!
На брусках, на дубе стропильном...);
При мысли о каменно-мыльном,
О твердо-подошвенном взоре
Асфальтовых глаз Примитива;
О пальце картофельно-белом
На кнопке вселенского взрыва;
О судьбах, скользящих по краю,—
Я Брейгеля вспоминаю.

При мысли о логике нищей,
О разуме задремавшем,
О стоптанном ухе,
Приникшем
К железным чудовищным маршам,—
О Брейгеле я вспоминаю! —
О Питере Брейгеле-старшем.

1967—1968

РЕКА

1972 - 1976

БЕГСТВО ДЕРЕВЬЕВ

Стемнело.

В траве не усмотришь тропинку вертучую...
И вот, чтобы глаз мой на чем-то его не поймал,
Куст
Выпускает тень,—
Как чернильную тучу
Под страхом погони выбрасывает кальмар.

Глядят исподлобья кусты в недоверье зловредном,
Как если бы каждый на их покушался покой...
А дуб — в облака унесен вдохновением бледным,
И звездами полон, хотя его ствол — под рукой.

Береза — в рисунке полос, полотенец, подковок,—
Как голос серебряный, сорванный несколько раз;
Не будь этих черных — на белом стволе — остановок,
Совсем бы она улетела, пропала из глаз...

Не видит, не слышит поселок, окуренный снами,
Что вырвались рощи, ушли из земной западни;
Деревья не здесь! —
Лишь подножья шершавые — с нами,
Как письма о том, что к рассвету
вернутся они.

И наземь сойдут по ковру укороченной тени,
Улику — воздушную лестницу — спрячут.
А жаль;
Их утро подменит;
Они возвратятся не теми,
Какими их видела ночь
И небесная даль...

* * *

Рассветные звезды гаснут.
Бескрыло перелетая,
Не двигаясь, пересела
Просветов лиственных стая.
 Бледнеет небо
 Текучим
 Истаивающим движеньем
 С томительным, напряженным
 И каменным выраженьем.
Упорна, высокомерна,
Словно статуй белые очи,
Но слаба и нежна основа
Ветерком изорванной ночи.
 Дуновений темные пятна,
 Островки проталин воздушных,
 Точно ямочки, заиграли
 На ее щеках равнодушных...
Как плащи итальянских нищих,
Облака цветные простерлись;
Износилась хламида мрака,
Нити сумерек перетерлись.
 Старый вяз к румянцу востока
 Повернул вниманье немое:
 Блещет небо за облаками,
 Как за сохнувшими сетями —
 Море...

Лишь в углу, — где ворсом перчаток
Лезет мох из глянцевого яблонь,

Там, где Севера отпечаток
Резче явлен и глубже вдавлен,—
Все витает там ветер мнимый,
Ночи выученик любимый:
Завиваясь унылою пляской,
В легких папоротниках колобродит
И по лбу моему проводит
Серых перьев невидимой связкой...

ПРОГУЛКА

Горшки плетней нахальны и толсты
И горячи — как только что с плиты.
Вдоль гряд — разнообразные румянцы...
А под плетнями, с их светоигрой
Подсолнухов, сраженных детворой,
Корявые горят протуберанцы.

Протуберанец я подобрала:
Вот падший демон для театра кукол!
Плащ золотой его полуокутал,
А в сердцевине — тряпочная мгла.

На льва похож: такой же яркий, вмятый...
Но маску льва напялил пудель ватный,
Неразлично пахнувший в душе
Льноволокном, сырьем прядильно-ткацким,
Каким-то полотном предельно штатским,
Речной водою и папье-маше.

...Плетусь по зною.

Неводы плетней

В морях жары становятся бледней...

И вдруг, пером заглавным помавая,

И гордый (как казенный изумруд

Иль радуга сугубо деловая),

Готова крик и зная: все замрут,—

На возвышенье жгучее

Петух

Ракетою взмывает безотказной;

Вздувается, слагается из дуг,

Вздывается, сливаясь в полукруг

(И хвост — мостом, и клич — дугообразный).

И, бросив обруч,— прыгающий крик,—

Склоняет набок шапочку-язык.

...Точильщиком за сад зашла весна,
На круглом камне круглый блеск точила.
И столько искр просыпала она,
Что прямо с диска лето получила.
Бобы на нитях стали созревать,
Сердца полусырые согреть.
Я опущу на красный выступ дома
Подсолнуха увядший пенопласт,
Как вызов человечеству от гнома...

А между тем навстречу мне, мордаст,
Воспитанник иных садов подсобных,
Уже другой вздымается подсолнух...
Ища иной к его фигуре ключ,
Остановилась. Из разрыва туч
Он, как сердитый мэр в окно фиакра,
Выглядывал. И в то же время он
Дышал грозой, как древний стадион,
Как желтый котлован амфитеатра.
Ста львиных цирков образ наливной,
Утыканный сиденьями для черни,
Подсолнух цвел...

А дальше, за стеной,
Уже скользил деревьев шум вечерний
И падал, падал зной...

* * *

После падения зноя
Местность как будто другая...
Сумерки множат чудное,
Будничным пренебрегая;
 Это спускается лучший мой
 Час — между сумерками и тьмой,
 Бегству лучей помогая.

Мирно и весело, — к темным
Замершим травам слетает,
К тропам — родным и бездомным —
С тихим смешком припадает,
 К белой земле между темных трав, —
 Той, что свеченье у дня украл,
 Тьму белизной питает.

Пыли налет жемчужный,
Сумерек обаянье...
Трав хоровод многокружный
Слушает, полный вниманья,
 Вроде как... — звон остыванья золы, —
 Песню морщинок на рожице мглы,
 Музыку неузнаванья
 Мест, утерявших названья...

Ночью — земля печальной
Станет, в росе остынет.
Вечера отблеск дальний
Надолго нас покинет.
 Сердце земное луна подберет,
 В небо возьмет.
 Но, — достигнув высот
 Где-то вдали, — не спросит, —
 Прямо на камни сбросит.
 Может быть, разобьет.

ДУШИСТЫЙ ГОРОШЕК

Душистый Горошек.

Окрошкой дворы

за Горошком Душистым горят:

Белья на веревках цветенье сырое — жасмин,

колокольчик, салат...

От солнца и ветра, от дымки лучей

по корявости утренних стен,

Оливковый вдруг пробегает пушок, — ну как будто

писал их Шарден!

Душистый Горошек... Невидимых кошек прозрачные ушки

в огне:

У «кошкиных ушек» (как мыши у кошек!) Мышиный

Горошек в цене.

Да вот и Мышиный: зацепит вершиной за грабли

и рвется, треща,

Как волос, под зубьями гребня искрящийся, как рвущийся

ворот плаща...

Душистый Горошек! Дешевая роскошь! Весны

королевич босой!

Цветущая иллюминация плошек, сияющих только

росой;

Таинственный, вещий, нахмуренный бархат

Тех курток и воротников,

Который так гордо (но впроголодь) носят

Художники многих веков...

Душистый Горошек в улиткиных рожках...

Еще не упрочился зной,—

Так что же стрекочет Мышиный Горошек, как волосы

перед грозой?

И мнится: в берегах,

в потертых вельветах,

с единой морщиною лба,

Шумя, надвигается к нам с горизонта художников

вольных толпа...

ХОДЬБА

Переломившись, век становится неровным
И — от неровности ль? — не вовсе безусловным,
А... как бы дрогнувшим на склоне роковом.

И вот уж плачет он, закрывшись рукавом,
О плясках на лугу, ходьбе детей по бревнам
И свешиванье ног с мостков над тихим рвом...

О вечном, о живом: о всём, что под металлом
Он сам похоронил, когда был глупым малым, —
Уж слишком молодым и дерзким на слова;

О лесе он ревет: зеленом, синем, алом, —
Который он сразил, когда ломал дрова, —

И — просто о ходьбе; о том, как ставишь ногу —
С беспечной дерзостью! — на снег или на грунт...
В железный век машин ходьба и та — ей-богу! —
Потом, когда-нибудь, воспримется как бунт.

... Чуть-чуть, когда идешь, раскачиваешь руки,
Движенью радуясь... (О, горькая судьба
Людей, не помнящих такой простой науки,
Как пешая ходьба!..)

Теперь вообрази: в грядущей дальней дали
Проснулся человек. Он видел странный сон!
И, как мы говорим, что в детских снах — летали,
«Сейчас во сне — ходил!» — с волнением

скажет он.

К МУЗЕ КОМЕДИИ

Истинное остроумие куда ближе к добродушию,
чем мы склонны предполагать.

Ш е р и д а н. Школа злословия

Кто смешным боится быть, кто в смешные положенья
Не стремится угодить, тот боится униженья.

Кто боится униженья,
Кто вкусил от поношенья,
Кто забит и напряжен,
Тот не может быть смешон.

Тот же (храбрый!), кто беднягу не страшится
оскорбить,

Кто не даст ему и шагу без стеснения ступить,
Кто не в меру задается,
Кто над бедностью смеется,
Кто сердечности лишен,—
Тот действительно смешон.

Не смешна мне ущемленность (если злоба ей чужда).
Мне смешна самовлюбленность, не имущая стыда.
Не смешны ведь ни калеки, ни шуты, ни горбуны;
Душечки-сверхчеловеки — вот кто подлинно смешны!

На подмостках театральных
Лица клоунов печальных —
Известковой белизны —
Не смешны.

Торт, который в полмомента
Влеплен в «рыло» оппонента,—
Мудро, ново, ярко! Но
Не смешно.

Избиенье (хоть бы вора!),
Освистание актера,
Одураченный поэт,
Строчки выстраданной кража,
Книг ворованных продажа,—
Остроумно? Ловко? — Нет.

Жар напрасный, гнев больной —
Тоже фокус не смешной.
Не смешны: ни свист одышки,
Ни походка старых дев
(Над которой животишки
Надрывают старичишки,
На сто лет помолодев),
Ни носов чужих фасоны,
Ни проделки злых пажей,
Ни обманутые жены,
Ни рога во лбах мужей...

Нет! Пока не проступили
В них такие же лгуны,—
Не смешны мне простофили —
Мне мошенники смешны!

О Комедия святая!
Столь не часто к нам слетая,
Жалость, милость к нам яви;
Путь закрой насмешке злобной,
Гогот изгони утробный,
Суть вещей восстанови!

С простодушием лукавым
Вещий толк верни забавам,
Слезы вызови из глаз,—
О смешливая!

И снова

Острым чувством *Несмешного*
Наделяющая нас.

* * *

Днем прохладным душного лета
Протянулись полосы света,—
Расслоилось небо на сферы:
 В нижней сфере, бурны и серы,
 Тучи с дышащими боками,
 Что, как сено, виснут клоками.

Сфера средняя — облачками
Вся уставлена небольшими,
Льдисто-белыми, нам чужими
(Не готовыми к теплой встрече,
К простоватому с нами свиданью,—
К распыленью и оседанью),—
Вглубь задвинутыми, далече...

 Сфера верхняя — как бы снова
 Ближе к пару дыханья земного:
 Не общительней сферы нижней,
 Но обширней, многоподвижней,
 Чем застывшая сфера вторая
 (Облачка где лежат, как свитки,
 Как серебряные улитки —
 Отрепленные овцы рая,
 В чьи наушники завитые
 Пробирается Византия).

Их руно умылось далекой
Световой полосатой протокой,
Жидким снегом, стеклом слепилось...
 И к безветренной сфере этой,
 Притязаньем ничьим не задетой,
 Много рвенья в листве скопилось...

И с земли
К барашкам надсферным,
К их мерлушкам высокомерным,
Оскользнувшись на стебле неверном,
Синий, синий летит лупинус...

ДОЛИНА РУЧЬЯ

Волна берега отражает.
Осока струям подражает, —
И тянется вниз по теченью,
Доверясь ручья попеченью.

Все травы — наземные даже — над влагой становятся
глаже
И тянутся, рвутся туда же, к осоки размотанной
пряже.

Но даже и там, где зигзаги
Ручья ускользают, лукавы,
Попав под влияние влаги,
Склонились дальнейшие травы.

Совсем сухопутные травы, а стелются как водоплавы!
А ищут волны, переправы... Не русла — хотя бы
канавы!..

И собственной ищут пропажи: утечки и самопокражи
В ручья Пенелопиной пряже, которая вечно на страже
И даже в распущенном виде
Вращается в той же орбите...

К течению приуровнение — всех трав, сколько око
достанет:

Как будто в одном направлении их Флора за волосы тянет!

То штучки ручья!
Своенравно
Одни увлекают так явно,
Другие (и это уж точно!)
Он за косы тянет — заочно!

И вот... как железо магниту не может ответить отказом, —
К ручью повернулись открыто орешники с дубом и вязом.
И даль, не успев заслониться сиянием тканью льняною,
Ручья уж не видит, но мнится, — подхвачена той же
волною...

Вся местность волнистая эта,
Вся (в тальнике гибком) округа
(Включая и полосы света, —
Дрожащие волосы света!)
Расчесана в сторону юга.

И глаз мой — в блистающем свете —
Попался не в те же ли сети?
Он строит мне мельницы, плюзы..
Еще... ему кажутся эти
С водой шелковистые узы
Зеленою кошкою Лета, которая с местностью ладит, —
Которую кошку (за это!) никто против шерсти
не гладит.

ИВЫ

Прутьев пурпурные бра
Серая держит кора.
В длящихся листьях — игра
Платины и серебра.
Сильное здесь, как нигде,
Ив притяженье к воде!
Платиновую прядь
Тянет магнитная гладь...
 Что ни долины извив —
 Уничужение ив!
 — Кланияя! — шепчет волна
 Иве, достигшей до дна,
 Липнущей в тине, ползя...
 — Ниже! — А ниже нельзя.
Дна угадав произвол,
Чуть выпрямляется ствол;
Бережный трепеток... Нет, не потопленный клад:
Свой же из слизи листок дерево тянет назад!
 Но авантюрную дрожь
 Хлябь разгадает... И что ж?
 Струйка магнитная — хватъ
 Платиновую прядь!
 Кануло — не вернешь!
В дымке я вижу окрест ивы ручьевых долин,
Их оползающий жест кающихся Магдалин,
Падающих, скользя...
— Ниже! —
Однако нельзя
Ниже скольжения ив;
Уничужения их;

Их близорукости в их
Чтении струйчатых книг;
Исчезновенья их лиц
Между кудрей и страниц;
Их простиранья ниц
В позе плохих учениц...

Что ни долины извив —

Школьные трепеты ив.

(Старых, как Мафусаил,— ствол коренаст,

узловат...)

Кто ж из них пересолил суп? Весь приют

виноват!

Осторопь учеников —
Пасынков лет и веков;
Страх перед книгою дна,
Что и доньше темна.
И над страницей — сон
Школьный; и целый заслон
Падает волосяной
Ливнем — над книгой-волной...

Что ни долины извив — уничтожение ив:

Стыд бесхребетных стволов, трепет серебряных грив

(Стан без костей, как язык,

Что не смолкал ни на миг!)

...Прутьев пурпурные бра

Серая держит кора...

Сильное здесь, как нигде,

Ив тяготенье к воде...

Тянет магнитная гладь платиновую прядь...

Полноте!

Просто ручью хочется нас разыграть.

Шутит ручей-старина, — умысел прячет благой

(Только улыбки со дна всходят — одна за другой).

Скобками ряби изрыт, мчащими снова на дно...

Слезы же ивы навзрыд — просто канальство одно!

Весел апрельский денек, бодр подорожник простой,

Весел трухлявый пенек, горд первоцвет золотой...

Весело ивам к волне мокрым лицом припадать,

Весело, весело мне

Горюшко их наблюдать!

ДВЕ БЕРЕЗЫ

Березы вечно две. Одна бледна. Другая
Бела. Одна крива. Ее сестра пряма.
Одна с отвесных круч ползет, изнемогая,
Другая вдаль глядит с пологого холма.

Одна как манускрипт. И как письмо индейца:
Рисунок на коре наивен и премудр.

А та — сплошной пробел. И нечего надеяться
Понять глухой рулон изображеньем внутри!

Березы вечно две. Для равновесья, что ли,
Одна — в лесу густом, другая — в чистом поле?
Та дышит тайною, а эта простотой...

Вся в «яблоках» одна, как конь, живущий в холе,
Другая — вся в рубцах, как мученик святой.

Монахиней одна покой обходит вечный,
С нездешним холодом на ризах дождевых.

А та, придумав сеть, — хитрец простосердечный! —
Перенимает птиц у веток вишни встречной.

Одна для умерших, другая для живых.

Иная в цвете дней по увяданью вянет:

Архангельской трубой буди ее — не глянет!

Так низко клонится!

Всей силой всех ветвей

Так рвется в обморок! (Откуда, в самом деле,
Столь нездоровый дух в таком здоровом теле?!)

Что я ей сделала?!

И что мне делать с ней,

Чтоб удержать ее от вечного паденья?!

Но... доставляет ей, должно быть, наслажденье

Мне сердце растравлять, смеясь исподтишка...

Как если бы утес бесчувственно-суровый,
Всегда склоненный ниц, но, в сущности, здоровый,
Играл надорванным сочувствием... жука!

Березы вечно две. Какая ж выйдет правой?..

Бывает, что и грусть сыграет фарс лукавый,

А радость под конец тоской закрепостит...

Вон, вон! — свинцовая, с чугунных туч оправой,

Бесцветным полымем у омота блестит,

Как перстень Борджиа с прозрачной той отравой,

Что самый быстрый нрав, лаская, укротит.

Она живущим жить, а мертвым спать мешает,

Душою твердого — некстати утешает,

Надменной вялости, как спящей мощи, льстит.

...Есть ива над водой для покаянной позы:

Не лейте ж горьких слез хотя бы вы, березы!

Светлокудрявые, со сливочным стволом,—

Вы ж сушей рождены!..

Вот так, от самых дальних

(Такие дальние, что тень их входит в дом

С личиной, вытянутой длительным путем!),

От плотных до, как свет, прозрачных и хрустальных;

От пестрых до простых; от млечно-изначальных

До измочаленных, с надломанным крылом,—

Березы вечно — две!

М о и, по крайней мере,

Блуждают по двое... Погода, что ни час,

Перерождает лес. Но из несметных серий

Две неизменные мой различает глаз.

Не те же самые! Зачем? Всегда иного

Полку и племени. Но спорящие снова,

Не поделившие чего-нибудь опять...

Я озарения в них вижу и просчеты,

Веселость и надрыв. Падения и взлеты.

Жуть византийскую и — ясности печать...

Березы вечно — две.

(Быть может, есть и третья?)

Но где она растет?

И если не столетья

На поиски уйдут, то... сколько ей расти?

Не знаю... У меня — их только две поныне.)

С одной запропадешь! Но, из трясиной стыни,

Другая, может быть, придет меня спасти.

РЕКА

Когда одна я,
Совсем одна,
И нет меня в мире одной;
И так высоко стоит луна,
Что земля темна и при ней;
И холодный ветер пахнет травой,
И веки смыкаются в полусне,—
Тогда
Является мне
На стене
Река
И челн теневой.

А в том челне старина Гек Финн
Стоит вполуоборот;
И садится он,

И ложится в челнок,
И плывет, закутив, плывет...

В лучах пароходов и городов,
На усах световых систем,
Один — одинешенек — одинок,—
Становится точкой его челнок,—
Но не может исчезнуть —
Совсем...

И все
На попутных и встречных плотах
Остроты ему слышны,
И Гек прислушивается, привстав
(Они ему тоже смешны)...

Но один, один — до того один!

Да и я — до того одна!

И мысли наши легки, легки...

Ведь нет, Гек Финн, у твоей реки
Ни берегов, ни дна...

СЛЕДОПЫТ

При свете месяца, как замыслы,
Клубились дымчатые заросли.
И что-то хрупко шелестело,
И что-то тоненько хрустело...
И, как лицо туманнобровое,
Курилось озерцо бобровое:
Казалось — если приглядеться, —
Лицо курящего индейца.

В воде распахивались форточки —
Бобры высовывали мордочки,
Так чутко двигая носами,
Как будто звездный свет сосали...
Вздымалась мордочка — и пряталась.
Тогда бобру в макушку брякалась
Вода стальная — в виде круга,
Похожая на крышку люка.

Светало — смутно и томительно...
И, улыбаясь одобрительно
Теченью беспокойных мыслей,
Шел добрый Нэтти в шапке лисьей.
И были кожаными нитками
Рисунки остренькие вытканы
На двух лосиных мокалинах,
Каких не купишь в магазинах.

При заморозке пахло листьями...
Воротника ворсинки мглистые
До подбородка доставали
Серебряными острями.
И, как ножны из алюминия,
На них садились иглы инея;
Как повторенье игл меха,
Как призрак меха — дух и эхо.

В горах, на скалах, тьмой притупленных,
Ждал солнца стан лесов предутренних.
Ружье — при первом шатком свете —
Синело за спиною Нэтти;
Оно, — гласит лесная хроника, —
Могло, не целясь, бить без промаха.
(Но, с тайной целью, зачастую
Оно стреляло вхолостую.)

«Чудно! Стрелок не ищет крови-то!
Ни лишней капли им не пролито!
Не хочет век прожить со славой!»
(Так ястреб думает кровавый.)
«...А мог бы сделать бой забавою!
(Так думает лисица ржавая.)
Жестокой мог бы жить игрою,
Как то положено герою!»

Чудно! Чудно! Не зная промаха,
Ни росамах, ни птиц, ни кролика
Не бьет без надобности крайней!
Не правда ли — все это тайной
Окружено неразрешимую?
Но знает холм с лесной вершиною,
И лог, и плесы мелких речек
Разгадку снайперских осечек.

Стрелок *нарочно* осекается.
И, осекаясь, он не кается:
За исключением Зла и Быта,
Вся жизнь охотнику открыта, —
Всех дебрей недра одичалые!
И не страшатся звери малые
Того, кого по всем долинам
Прозвали Глазом Соколиным.

Он дважды знал лесные шелесты:
Один был песней, полной прелести,
Другой — таил ответ-примету:
Откуда ветер дул по свету...
Он дважды знал лесные запахи:
Ловил одни — читал как записи,
Другие видел как портреты...
Он знал все тайны, все приметы,
Неявность, явность, ускользания,
Прямую речь, иносказания,
Все вздохи, выкрики, невзгоды,
Улыбки, трепет, плач Природы...
Тумана внутреннюю сторону...

Найдя перо,— какому ворону
Вернуть перо... Где дно без ила...
Все, все ему доступно было!
Клин журавлиный, в небо вогнанный,
Кулик, фламинго бледно-огненный,
Блеск утра... Ночь,— когда в долины
Сползались тени-исполины;
Дождя и ветра смесь волнистая...
Весна... Подножья травянистые
Деревьев — темных и одутлых
От снега, тающего в дуплах...

Скалистых Гор черты надменные,
Племен обряды сокровенные,—
Где слуху музыка не рада,
Где зрелище страшится взгляда;
Узор, каким по дну изложины
Растений помыслы изложены...
Все видел, слышал, чуял, ведал
И ни одной черты
Не предал.

Неунывающей тропинкою,—
Бегущей с детской запинкою
И с молчаливым заиканьем,—
То перед вынырнувшим камнем,
То перед корнем заковыристым,
Из-под земли внезапно выросшим,—
Шагал охотник белокожий,
На всех охотников похожий.

И не похожий, и особенный:
К таким простым не приспособленный
Вещам, как скука, злоба, скверна...
Его грехи — и те, наверно,
Иной бы счел за достижения!
Его простейшее движение
Другим казалось бы шарадой...
Сопровождалось бы тирадой...

(Потом, когда пошли бы жалобы
На сложность Нэтти,— я сказала бы,
Что эти сетованья ложны:
Охотник прост. Мы сами сложны;
Как много в жизни вдохновенного!
Как мало в ней обыкновенного
И неизысканного! Вроде
Стремленья к чести и природе!)

...Уже зари краснеют полосы.
Что там трепещет в рыжей поросли?
В ледке и в зелени сверкает?
Сверканьем путь пересекает?
Откуда целый склад гортанности?
Кто здесь довел до непрестанности,
До пустомельства переливов
Речь делаваров молчаливых?

Ручей!

К нему стрелок спускается.

Струя с камнями пререкается,

Играет солнечным оплетьем...

К индейских сходок междометьям

Припутав трели клавесинные,

Весну несет в леса пустынные,

То расширяясь постепенно,

То вдруг мелея... На колено

Охотник рядом с ним становится,—

К священнодействию готовится

(С нехитрой горсточкой приемов,

Что от бобров узнал знакомых);

Смущая свистом чащу дикую,

Запруду строит невеликую

И, не без некой тайной цели,

Отводит воду к новой щели...

...Была ли щель, через которую

Могла пойти в другую сторону

Вода истории? Не знаю...

Но часто Нэтти вспоминаю.

Того, чьи странствия чудесные,

Слова прямые, мысли честные

Показывают непреложно,

Что людям быть людьми — возможно.

* * *

То цельная, то — на четыре потока,
Где шли островки с своей «вилкой» тройной,—
Река текла ширóко,
 Ширóко,
 Ширóко,—
Наполненным руслом — под полной луной.

Серебряные кольца ее покрывали.
И там, в береговой теневой полосе,—
 Тонули — всплывали,
 Тонули — всплывали...
Но не было таких, чтоб на миг застывали,
Но двигались,
 Двигались,
 Двигались — все...

Рыбак стоял в лодке. За ним, верней свиты,
Шли звезды — близки́ к обращению в рыб,
Но куксились — ряби набегом отбиты...
Мрачны́ и сердиты,
Шумели ракиты,
Речной провожая изгиб.

Рыбак собрал невод. Рыбак ушел к дому.
И вылетел ветер с открытых полей,
И запах ромашек примчал, и солому,
И тонкий пчелиный елей...
 Река же смахнула их сразу, как дрему,
 И к дальнему перенесла окоему —
 Несущую силой своей.

Стою у ракиты. Стою в лунном свете.
Река течет быстро — поди догони!
Где ж запахи эти?
Где место на свете,
Куда бы — сухими
вернулись они?..

* * *

Над красным ущельем нависли деревья седые.
Листва над дорогою свод заплела, зелenea,
А там, где до полного свода листвы недостало,
Щеглов голоса перекинули сеть золотую
И свод дописали.
И я застываю у входа:
Я более свода люблю — впечатление свода...

ЗМЕЕЛОВ

Змеелов!

Твоя судьба не из отрадных.

Ты идешь путем деревьев и зверей

По тропе в непрерывающихся пятнах

С палкой, флейтой да мешком для сухарей.

Вскормлен скорбью, бессонницей взлелеян,

Вспоен сыростью весенних тростников,—

Ты выдразниваешь змей из их расселин,

Ты выкуриваешь змей из их пеньков...

Их фамилий извивающихся звенья

Ты не просто разрубаешь или рвешь;

Ты на флейте им играешь — из презренья,

Из гадливости — ты песни им поешь...

И ползут, и покоряются заклятю.

Между тем тебя давно должна бы знать

(По глазам и по разорванному платью)

Эта злая раззолоченная знать.

Глаз твой сух (как бы кружащий в чаше влаги,

Но не мокнущий, а тонущий сучок).

Неотступным (не мешающим отваге)

Ровным ужасом расширен твой зрачок.

Ты и сам — на этой ниве сна и яда,

Обезвреженных зубов, усталых жал —

Тишину остановившегося взгляда

У врагов твоих заклятых перенял.

Ты и сам — на этой зыбкой службе риска,

Как затворник — отрицанием творца,—

Ядом джунглей усыпляющим проникся,—

Хоть рубашку отжимай да жди конца!

Вот по зарослям струенье огневое —

Точно гребень вдоль Горгоновых волос...

Не пленен ты и цветеньем (какое

Между змеями случайно прорвалось).

Слышишь? — ветер, тихий ветер свежей тени
С пламенистого куста перелетел...
Да не взять тебя истоме смертной лени,
Раз не желтая горячка — твой удел!
Жребий твой (как пояснили бы софисты) —
«Все живое» останавливать вокруг;
Лес не ветками, а жестами ветвистый,
Лог, без надобности двинувшийся луг...
Срѣзать с озера непрошенные грани,
Все, что едет, придержать на тормозах;
Пашню, полную неясных порываний,
И расселину, плывущую в глазах...
Так разладить выспих целей «сообразность»
(Завитками проглянувшую кругом),
Чтоб наперсточный малыш,
Забыв опасность,
Зашагал по дну долины
Босиком.

Змеелов!
Хотя и в смерти обязуюсь
И в безумии тебя благословить,
Жребий твой — не умереть, не обезуметь,
А пленительные земли обновить!
И по рекам, рекам мутным и свободным,
Полным сил, запарохоженным, живым,
По дорогам, по дорогам этим водным
(А весной наполовину снеговым),
По волнистым плотогонческим бродвеям
К человеческому городу приплыть,
И за ненависть томительную — к змеям...
Человеконенавистником прослыть.

* * *

То не дорога, не шлях: *путь* в предвечерней тиши.
Сборщицы чая в полях, желтые крыш камыши.
Взрослые двое со мной: за руки держат меня,—
Тихо уводят меня в жар заходящего дня.

Пыль. Замирание пчел. Дальний за облаком гром.
Может быть, это Китай? — мы ведь так долго идем...
Может быть, сам Индустан? Крыши — как платья
до пят...

Всяк на пороге своем, люди как тени стоят,
К розовой раме дверей
Всей припадая щекой...
Эти дома
Изнутри
Я представляю с тоской.

Долго не вносят ночник: любят сумерничать там.
Красный кувшин на столе, синяя мгла по углам.
Гость *опускается* в дом, словно небесный посол,
Ибо чуть ниже двора хижины глиняный пол.
Всюду циновки лежат. (Чу! — тростниковый мотив...)
Ходят по ним не дыша, пальцы к губам прирастив.
В окнах стоит тишина — нежно, как в вазе вода...
(Впрочем, не умер никто и не умрет никогда.)
Вот мы, глядишь, и пришли!
Вот мы, глядишь, и вдали!
Солнца оплавленный край
Брызжет у края земли...
Красный мы видели двор,
Слышали крик индюка...
(Где-нибудь здесь и павлин! —
Просто не виден пока...)

Прямо по воздуху ночь сходит не чувствуя ног:
Звякнет о берег земли месяца белый челнок...
Кто-то пойдет за огнем... В поле и в доме темно.
Древнеиндийский светляк с лампой влетает в окно...

Жаль: никогда не дошли

Трое до края земли!

Жаль! — но лишь грезилась мне

Сборщицы чая вдали.

КИНО

Когда выходишь из кино
В мерцанье вечера сырое,
Лишь краем зренья замечая,
Что землю снегом замело,
То существуешь за двоих:
И за себя, и за героя.
Или совсем не существуешь:
Ни за себя, ни за него.

Ознобом воздух напоен,
Тоской по Куперу и Грину.
Приторможенными ручьями
Бесшумного снегодождя...
Кинематограф, как сова,
Тебе глядит упорно в спину,
Зеленолунными очами
Над городами поводя.

...Как тень жаровни по стене,
Текли виденья в темном зале:
Был полон счастья и печали
Старинной песенки напев,
Пока не гас на полотне,
Перерождаясь в ропот устный,
Картины оборотень грустный,
От превращений побледнев...

Нет! Место низости не тут!
Иллюзион — страна титанов!
Момент — и хоры великанов
Подхватят клич передовой...

Но и случайный в пятке зуд
Здесь облик обретает плотный.
И огонек встает болотный —
До колокольни головой!

...То не борцы-тяжеловесы,
То мыслей темные процессы!
Мне представляли в ходе пьесы
И страхи в латах Жанны д'Арк,
И низкой прозы интересы
В обличье сказочной принцессы...
Искусства дальние экспрессы,
Вы поворачивали в парк!

Угадывалось: близок час,
Как за Джульеттою Мазиной
Пойдут эскортом, цепью длинной
«Блаженных» новые сорта:
Придут бой-золушки, пай-жанны...
Гибрид из бокса и нирваны.
Вся та святая простота,
Что не пронесит мимо рта.

...Но зал, как донор-пеликан,
Питал детей своих фантазий;
Стоял, как лекарь, с банкой мазей
Для новых Золушкиных ран...
Устроить Золушку на бал
Толпой пытались персонажи...
А мне от Золушкиной саж
Хотелось выстирать экран.

(В чем счастье зрителя? Молчать
При хохоте единодушном
Или хихикать одиноко
В молчанье зала гробовом?)
...Как жаль, что Золушка теперь,
Когда на бал бежать ей нужно,
Уж не проходит через стены,
А прошибает стены лбом!

Так, значит, снова — в добрый час?
Съедим горчайшей соли гору,
И выпьем Стикс,
И много сносим

Железом кованных сапог,
Пока простейшее пойдем:
Что, подготовленной к отпору,
Железной Золушке —
Не впору
Хрустальный башмачок!

А как растроган был экран,
Что не свята Святая Жанна
(Хотя придумал это сам)!
Она сгорала на костре,
А в промежутках, как на грех
(Что не в пример для Жанны странно!),
Держалась Жанна хуже всех.
А в лучшем случае — как все.

Она Руанов не брала,
Не колыхала знаменами,
Ан воевала — за себя!
Не поджигай, палач, постой:
Здесь просто нечему гореть.
И если молвить между нами,
Она согласна и с ханжами,
И с инквизицией «святой».

Ей, разорительнице гнезд,
Галчиных бедных гнезд семейных, —
Смешно доспехами греметь,
Мечом размахивать грешно!

...Об оклеветанных тенях,
О чувствах к ним благоговейных
Ты по-старинному грустишь,
Когда выходишь из кино.

Искусство ищет новых троп.
Искусство смешивает жанры.
Но, даже смешивая жанры,
Мешать понятия ни к чему.

...И неуклонно в эту ночь
Стучит мне в сердце пепел Жанны,
Стучит мне в сердце пепел Жанны,
И трудно сердцу моему.

* * *

Как радужный дурман горячего болота —
Мечты создателя рифмованных миров.
Но первый светский жест певца — уже ворота
В действительную жизнь — из царства детских снов.

А значит — он идет на низменное что-то
В яснейшем разуме. А значит — он здоров,
Когда и в будний день играет идиота,
Безумца, гения... Носителя даров...

Да, он помазанник. Но больше — для проскользу.
Дурак-то он дурак, но — в собственную пользу!
В нирвану погружен, в экстаз небытия,—

Но хочется сказать: «Нирвана-то нирваной,
А ходишь как-никак и сытый и не рванный
И многим не даешь, я слышала, житья!»

* * *

Ночь. Отовсюду раскрылись душистые темные веера...
Грустное небо над ними: серебряный нежащий океан.
В нем отразились огромные, дальние, древние воды земли:
Чаша небес перевернута в озере, чаша озер — в небесах.

Вскрикнула птица — протяжною жалобой свод
огласила лесной:
Сон ли приснился ей, страшный по-птичьему? Или
боится змей?
Ты не разнежь меня, не усыпи меня, не подведи меня,
ночь!
Или... иначе, тогда подведи меня, чем подводила
других.

Ведь у других это небо озерное дышит иным серебром.
(Только свое серебро я и золото в жертву богам приношу!)
Тени свои у меня. Для вторжения — замкнуто небо мое.
Зря так общительно, так понимающе вы улыбаетесь мне.

Даже у мыши свое мироздание! Даже у мошки —
свое!
Так отчего бы и мне, напевателю песен, — свое
не иметь?
Истари кажется людям, что спетая песня —
раскрытая дверь;
Что у того, кто заветное выскажет, — нет уже тайны
от них!

Много на небе сокрыто, Горацио, многое прячет земля.
Только певец — у любого и каждого! — как на ладошке
сидит...

СТРАСТЬ К ПОЛЕЗНОМУ

Сочинял и думал: «Слава —
Вот единственная школа», —
И собачкой цирковой
Прыгнул в обруч ореола.
 Но Фортуна — та ловчее!
 Знала старая циркачка,
 Что продержится недолго
 В центре обруча собачка.
Что получится, как древле,
Пролетание сквозное.
И опять не утолится
Честолюбие больное.

 ...Но и я к устройству нимба
 Уж давно держу придирку:
 Почему не сделать шапку,
 С двух сторон заштопав дырку?
От дождей, от непогоды
Хорошо она спасала б!
Не осталось бы у скальдов
Основания для жалоб.
 В теплоте и неспособный
 Перебесится быстрее,
 И способный не загинет
 От немилости Борея.

Над возможностями нимба
Я недаром рассуждаю:
Ведь и я от злой простуды,
Раз на то пошло, страдаю!
 Уж давно я собираюсь
 Натянуть его на пальцы.
 Жаль: все руки не доходят
 Да игла мне колет пальцы...

ПРЕДВЕЧЕРНЕЕ

Бродяжки птицы к югу улетели,
А домоседки — в желтых кронах ерзали.
А ближе к речке — ветви поредели
И желуди упавшие подмерзли.
 Все как-то жаль ступать по листопаду:
 Решусь покуда — снег пойдет стеною,
 Холсты,— пока искала с сердцем сладу,—
 Простелет между листьями и мною.
Но... как бы вера в срывах ветра мгlistых:
Еще дубравам листья пригодятся!
(Уж разве только — не дубы от листьев,
А листья от дубов освободятся.)
 Мне трудно знать, как туча в отдаленье
 Истолковала этих дум упорство,
 Но донеслось от тучи
 Потешенье,—
 Мечте безумной — странное потворство.
И скрипка ветра глуше зазвучала,—
Как будто в лад фантазии нелепой.
И колющего зимнего начала
Сломался стержень тоненько-свирепый.
 А туча, отпылав, переделалась
 Из пурпура в суровый плащ дорожный,
 Но не ушла, а молча загляделась
 На образ дали противоположной,

СТИХОТЕРАПИЯ

I

Когда сердце,
С себя сбивая
Скорлупу, одну за другою,
В гадость памяти обрываясь,
Мчится воющими пропастями,

Ты представь себе
Свое горе
Нарисованным... на фарфоре.
Да и то не все, а частями.

Но... круги и зигзаги ада
На фарфор наносить не надо:
Ведь фарфор и фаянс так ломки! —
Против жанра идти не стоит...

Да и кто ты такой, отучая
Человека от чашки чая?
Если жизнь ты ему отравишь,
Разве это тебя устроит?

Только маленькие промашки,
Улыбаясь, рисуй на чашке:
Слишком сильное заблужденье
Нипочем под глазурь не ляжет!

Выбирай картинки былого
Наименее все же злого...
(Сердце, рвущееся на части,
Вкус и меру тебе подскажет.)

Как люблю я фарфор с фаянсом!
С нанесенным на них Провансом,
С их Аркадией...
Как природа их белопенна!
Постараюсь, чтобы страданье
Соскользнуло с них постепенно
(С целой тучей забот, которым
Повседневность — не оправданье).

Есть резон моему пристрастью:
Даже бьется посуда — к счастью!
(Хороша и та, что не бьется:
Уж зато цела остается!)
Есть резон моему пристрастью
И гончарному упоенью:
Если бьется посуда к счастью,
То не бьется — к успокоенью.

И откроется очень скоро
При расписыванье фарфора,
Что грешно малевать кошмары
На батисте из рода глины;
Гадость памяти, сил крушенье,
Оскорбленье и поношенье...
В этом случае допустимы
Только розы и мандолины.

II

Как мой вкус изыскан, однако!
А изысканность — грех великий:
Слишком тонкое — снова грубо.
(Я эстетов клянусь, каналий!)
Но поскольку речь о посуде,—
Прикладном, а не главном чуде,—
Отчего не ценить фарфора?
Табакерок, резьбы, эмалей?

Над боярышником фаянса
Тени ночи летать боятся;
Никогда мадам Косарица
На фарфоре не воцарится!
Я по свету хожу; я всюду
Разрисовываю посуду,
Чтобы хор ее нежногосый
Пел анафему ведьме безносой!

И пускай Зоил образцовый,
Принимаясь за пашквиль новый,
Как всегда не подумав, скажет
(Ведь Зоил человек простецкий!),
Что в расписыванье фарфора —
Ни судьбы, ни с судьбою спора,
Ни отчаянья, ни задора
И ни удали молодецкой.

И пускай питомец зоилов
Носит громы на лирных вилах,
Бурю (якобы) в поле ловит,
Рвет, рыча, на груди рубаху,—
Вот кто пляшет среди фарфора!
Ан заденет его — не скоро:
Порешить свою обстановку —
Не достанет ему размаху.

Вообще же... Возвращенному в холе
Скакуну — как не рваться в поле?
Но скакун, испытавший сечу,
Зря не прыгнет ветрам навстречу.
Это бюргеру льстит ужасный
Ураган в байроническом роде.
Но бродяга
Плохой погоде
Не споет серенады страстной.

III

Ах, фарфор на старом камине!
Уж не бюргерский ты отныне,
Так как бюргеры переменились:
Практикуются на ураганах...

Но поскольку у них такие
Поразительные стихи,
Что не только не бьют фарфора,
А тем пуще оберегают,—

То... дозволено мне да будет
Расписать эти несколько блюдец
Сценками
Из моей пасторальной
Жизни — долины взгляда...
И пока филистеры, с жиру
Множат скорбь, грозящую миру,—
Вы уж дайте мне улыбнуться!
В память
О последнем обрыве ада.

ПЯТНИСТЫЙ СВЕТ

Снег оседает, истаивает так явно;
Солнце на лете настаивает так славно!
По шестигранным зернам,
 пенистым стеклам
Шарит лучом упорным, упрямо-теплым.
 И от волнистого, нежного его взгляда
 Целой зимы подается, глядишь, громада;
 Тающий след (где легко в снегах провалиться) —
 Синью небес наливаемое корытце.
Но от заносов ярких, от их горенья
Распространяется зимнее изнуренье,—
И в безнадежность усталость перерастает;
Кажется, уж и тающее не тает,
 Кажется, уж и быстрое недвижимо,
 Острое — вяло, краткое — растяжимо...
 Верив (зимой), что весна пришла под сурдинку,
 Непобедимую мнишь последнюю льдинку.
Слабнешь — и снежный жар зеленеет резко...
Искрами голода кажутся искры блеска,
Как над отчаянья радужной целиною —
Пестрые тигры света
 скользят за мною...

ПОДВИГ ПТИЦ

По грачам,
По угольному блеску
Зимних галок — я весну узнала;
Новая волна лесного света
Перья галок отполировала.

В старом прерывающемся хмеле
Замелькали — серы, чуть лиловы,—
Понеслись по воздуху, запели
Соловьи, дрозды и реполовы.

Сколько птицам разных притеснений!
Но, как свет, движенья их свободны.
Сколько бед, забот и треволнений!
Но, как сон, их песни беззаботны.

Оттого ли, что любой ценою
Избегают Севера пичуги?
Если видят Север, то весною.
Если зиму видят, то — на Юге...

Есть неизъяснимая отрада
В том, как, путешественники света,
Видят птицы только то, что надо:
Лето да весну. Весну да лето.

Не страшась ни океанов грозных,
Ни пустынь сухих, — они всегда ведь
Из обрывков весен кратких, розных
Вечную весну хотят составить!

Как ткачи из ветхих пестрых нитей,
Вы тепло, о птицы, ткете сами.
Зябко ж вам, пока соедините
Нить Гаити с нитью в Амстердаме!
 Краем, краем, хлопья задевая,
 Но минуя их любой ценою,
 Ткете май, в одно кольцо свивая
 Благость Юга с северной весною...

Всяк — зимует. Полземли пасует
Перед стужи идолом поганым.
Только птицы — всюду за весною,
Как толпа детей за балаганом...
 Но к стеклу промерзлomu прижаться,
 Но застыть в морозов царстве мнимом
 Им бы легче было,
 Чем держаться
 В круге лета неразъединимом.

СОРВАННЫЙ ХОРАЛ

В поросли зеленой ужас хлопьев гневных.
Буря в перспективах шелково-корявых.
Но и в вихре черном мне кивки деревьев
Кажутся беседой добрых и кудрявых.

Слов не слышно. Только
Жесты разговора
Заменяют речь, глушимую ветрами,
Только листьев трепет, взмахи их узора —
Ход чудесных мыслей пишут перед нами.

Грустно, что и в этом маетном размахе
К лютоści прохладу сводит поневоле;
Что звереет свежесть и как смерть на плахе —
Пресмыканье долу ивы в дальнем поле.

Что венец весны — цветенья запах сладкий,—
Он не сам сказался в радостном избытке,
А в бреду сорвался, в жалкой лихорадке,—
Отнят силой, вырван, как язык при пытке!

Свет, слепым заметный, где ты, дух цветенья?
Лал в подкладке ночи, мех на мраке алый?
Как в него поверить в час его паденья,
Если и в живых он был как небывалый?

Стонут вихри в дуплах, в дуплах безобразных...
Мне вот-вот примнится, что садам привычно
С якоря корней срываться еретично;
То плутать и шарить в областях заглазных,

То сникать и падать в медленных падучих,
Массой плющевидной ползая покорно;
Щелкнуло ли в кленах сердце трав ползучих?
Иль ползти вьюном для дуба не зазорно?

Кто ж он? В недрах корень или в небе птичка?
Ох, чем легче небо, тем земля тяжеле!
Листьев устремленье и корней привычка
Сердце рвут на части в его старом теле.

Ствол его вмешался в спор листвы с корнями.
(Так татарский пленник, узник в том же роде,
Пущенными врозь разорван был конями.)

Ствол его — в неволе, листья — на свободе.

Стонет в дуплах ветер...

Скучному не внове

То, что рвется тополь с ясенем сразиться...

Рад подслушать ветер, как, на полуслове

Прерванная, — песня в брань преобразится!

Это Север, знаю!.. Так переиначить,

Так смутить и сдвинуть сладостное братство!

Песней был задуман и как песня начат

Этот рев и хохот, полный святотатства.

Это Север, знаю! Великаны братья,

Север вас попутал и привел к разладу;

Не смогли бы вербы высвистеть проклятье,

Кабы Север маю дал допеть балладу!

Тщетно скрытой песней их сердца пылают!

О, когда б допели!

Ясные насквозь бы

Небеса, что силой они взять желают,

К ним сошли бы сами —

Без борьбы и просьбы.

НАПЕВ

Море в расселины скал понавставляло зеркал:
Овальных, шарообразных, вспыхивающих,
алмазных...

И наводит, наводит свои зеркала
На дорогу, что к берегу долго вела,
И на крабов своих несуразных.

Я много несу
Разных
Новинок от моря назад;
Меня осыпает закат
Пыльцой своей бронзовитой...
А ночью, ночью в молчании сна
Вновь застрашает меня глубина,
Где вьется
Гад ядовитый...

О, сколько тайн ты, море, хранишь!
Сколько глубоких!
В рыбах золотобоких
Разве их все отразишь?

Молча сжимаю в горсти
Я вечной
Тайны мученье,
Но и разгадка
Облегченья
Не может мне принести!

Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла...
Прохладный
Бриз набегаёт,
Море, шумя, зажигает
В скалах свои зеркала...
Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла...

Рука зари вечерней
Рыбачки привет дочерний
От облака подожгла.

А! О! А!..

Письмами чайки горят в камине заката...

А! О! А!..

Парус мой, парус,— нищенская заплатка!

И море под нами шатко,

И небо для нас загадка,—

Лишь волны — за складкой

складка —

Несут умолчанья дна...

А ты, о море, столько хранишь

Тайн,

Тайн глубоких!

В рыбах сереброоких

Ты их не отразишь...

Молча держу в горсти

Я вечной

Тайны мученье,

Но и разгадка

Облегченья

Не может мне принести,

Ла-ла-ла-ла... Ла-ла-ла-ла...

Свежести облегченья

Ничто не может

Мне принести...

ОТРАЖЕНИЯ

В деревне соседней чинить собираются крышу...
То крик петушиный... То — оклик, шагами дробимый...
А я повседневных, я будничных звуков не слышу,
Пока не подыметя ветер холодный —
Мой ветер любимый...

Но слышу, как ходят полозья, как шепчутся люди
На бледной стене золотистой — на копии льдистой
С холста Ван-Остаде, — где, в сонной осенней остуде,
Катается отблеск вечерний, как пух серебристый,

Вращается чистый, как шар на серебряном блюде...

Люблю эти миги!
Ловлю эти слабые блики!
В их беличьем беге, в их мелочной кроличьей дрожи
Они на обрывки линялого меха похожи,
С великой равнины гонимые ветром великим...

Как будто равнина летит через комнату — тоже!..

Люблю эти блики... Они, как неясные лики,
Ненастны и дики... Но самый их холод мне дорог.

Пугливы, как бегство бродяги, как песня зайки,
Как белые мыши с зонтами из красной гвоздики,
Бегущие в страхе улик... Но и сами — улики,
Что милость равнины таких не обходит каморок!

Равнина по стéнам свой свет горностаевый стелет,
Равнина в камерке! (Не так ли из главного зала
В клетушку слуги достигает сияние в щели?)
То — снежное в тучах посольство... То — ветра начало...

И вот уже входит Зима, подымая забрало.

И вот уже ветер, охотничий рог подымая,
Гвоздичным и заячьим бликам наносит обиду;
Их далее гонит по стенам, по «Зимнему виду»...

И, гóлоса будней в безветрии не принимая,
Я с первым порывом — совсем упускаю из виду
Обязанность Прозы...

Пускай даже к ночи не выйду
В размах листопада, листы из него изымая...

СНЕГОПАД

Листы последние
хотела, как безделицу,
Поднять на улице. Но тучи смыли свет...
На солнце метила — а встретила метелицу
И листопада запечатанный пакет.
Уже с наценкой два листка из снега вынулись —
Как жребий вынулись! А снег полил стеной
Мехов сияющих, — как будто вместе двинулись
Два разных промысла: небесный и пушной.
На землю старую страна спускалась новая.
Еще открыть ее колумбы не пришли...
Но хлопьев доньшки — ста рейдов синь готовая
(Там запах пристани! Там гавань васильковая!) —
Большими днищами сливаются вдали.
Но все труднее мне из белой тени выбраться;
Всего и вижу, что в кивающем пятне
Пыльца граненая на семь ладов колибрится;
Знать, видно солнце ей, не видимое мне.
А вьюга трюками овладевает грубыми:
Толчки, нокауты... Но в целом — так тиха,
Что только деснами пока жует беззубыми
Да пахнет влагою, как рыбы потроха.
Иду не двигаясь; кажусь травой, проглоченной
Морского чудища скучающим зевком...
Рукав мой липнувший, рукав, метелью смоченный,
Терплю, как молния, идущая пешком...
Листы последние дорогами свободными
Катились весело: их ветер гнал цветной...
Я упустила их. Чтоб только прошлогодними
И только черными увидеть их
Весной.

ОДА КЛЯКСЕ

I

Одно — мечтать и к звездам тяготеть,
Другое дело — вправду к ним лететь.
Но это тоже страшный труд, наверно:
Быть малышом, читающим Жюль Верна!
Уютный свет, укромный поздний час.
Читает он, однако, *в первый раз*.
И первый шаг уже направил к безднам...

Что будет с ним в грядущем неизвестном?

Но век бегучий спас его, поди?
Все та же ночь в окно к нему глядит,
А уж вокруг синтетика, пластмасса,
Бездушные к таинственности часа...
Все опасалась я, что мальчуган
Готовится сбежать на Мичиган,
Не то грозит ему за кляксы взбучка,—

Бог мой! Да у него же авторучка!

Она не сыплет кляксами в тетрадь —
И ни к чему к индейцам удирать.
(Не оттого ли вдруг не стало прерий
И скрылся сонм индейских кавалерий,
Вторично растеряв свои права?
Не оттого ли Серая Сова,
Не поглядев, прошлыл в каноэ мимо,
Что клякса в мире невосстановима?)

И скоро нам на старом чердаке
Искать клеенку с кляксой в уголке
И след чернил в растрепанной тетради...
(Но только не в музеях! Бога ради!
Уж лучше, обращенный на закат,
Чердак найти, где кляксу-экспонат
Мы обрести могли бы не толпою,
А всяк наедине с самим собою.)

...Перо умело слезы проливать,
Скрипеть и брызгать...
Руку предавать
Хозяйскую в своем внезапном плаче...
Но авторучка вас предаст иначе —
Сухим манером. Нагло и без слез.
Мол, сами плачьте, — вот и весь вопрос.
И если перья встарь писали плохо,
Она не пищет вовсе. Так эпоха
Продвинулась еще на шаг вперед.
Хочу сказать: все благо в свой черед,
Когда не перескакиваешь фазу.

И возвращаюсь к нашему рассказу.

II

Легко ли сердцем вымыслы питать?
С действительностью сны переплетать?
Но что легко — легко неимоверно! —
Быть пареньком, свергающим Жюль Верна
(За то, что он, как двоечник, «отстал»!).
И с ревом возводить на пьедестал
Не Гоголя, не Шиллера, не Листа,
А... штангу и, как следствие, штангиста.

Прекрасна сила. Только не сама,
А как служанка Сердца и Ума.
Приз мускулам, но двадцать призов — духу.
Лишь тот титан, кто не обидит муху!
Кулак не светоч. Тело всем претит,
Когда оно душой руководит.
Душа есть рыцарь, плоть — оруженосец.
А не наоборот. Разноголосиц

И разночтений тут не примет слух.
Душа и спорт. Ужлі — одно из двух?
Ужели спорт взбирается на сцену
Не в помощь духу, а ему на смену?
Ведь мускулы с нечестием вдвоем —
И в спорте недозволенный прием!
И страх берет: что́ станется в грядущем
С *таким?*! — непобедимым, всемогущим...

Индейцами забытый, в их вигвам
Не рвущийся (чего-чего? фиг вам!),
Он, впрочем, за романтику в ответе.
Однако же не все, что есть на свете,
Без размышлений, с ходу, в полчаса
Под Алые подсунешь Паруса!
Да не взойдут на палубу с вещами
Сверхчеловеки! Юные мещане...

...Но я спешу, а значит, отстаю:
Я видеть то окно перестаю,
Где над столом лучи стоят, как щетка...
Все та же Прометеева находка,
Не устарев, горит во тьме ночей!
Все грезит Юность — Вечный Книгочей...
И в душу — сказкой! — рвется факт упрямый,
Что новый мальчик — мальчик *тот же самый!*

III

Покуда мы догадки строим (Глянь:
Не «дышит» синтетическая ткань!);
Пока «романтик» новый, через силу,
Пустую разрабатывает жилу
(Спеша к нейлону — личности печать,
А лунный свет — к пластмассе подключать,
Дабы явилась вдруг осеребренной
Не как пластмасса, а как дуб мореный);

Пока — дубы круша, кромсая лес —
Железный слон проследовал, «прогресс»,
И там, где нефтяная котловина,
Открыл месторожденье маргарина;
Пока Умы стараются кругом,
Чтоб вышел Рак из масла с творогом,
Чтоб кверху брюхом рыбу гнали воды,
Чтоб дурь земли шатала неба своды,—

Все тот же он, жюль-верновский герой!
Он любит дуб с листвою и корой
И лунный свет. Он так отстал от моды,
Что постыдится плюнуть в лик природы.
Из утвари, известной нам сейчас,
Он выбрал море, небо и компас.
В романтику влюбленный не для виду,
Похоже — он не даст ее в обиду.

...Марс красен, а Венера зелена.
Вот и заснул...
Над ним бежит луна,
С нее вот-вот откинется подножка —
Из космоса протянется дорожка,
И скоро на дубовую панель
С подножки лунной спрыгнет Паганель
И растворится в нитях древесины,
Станцованных, как волны и дельфины...

Как скоро ночь романтики прошла!
Вот, негра мрака вымыв добела,
Измылился луны обмылок белый...
Бело, свежо...
И грусти — космос целый...
Не моден, к чести спящего, не нов
Цветущий свод его рассветных снов;
Ему не первым, не ему последним
Быть Капитаном Пятнадцатилетним.

...А самописка?
Это я — шутя!
Хотя... и три столетия спустя
Я так же бы шутить могла ретиво!
И думаю: так искренна, правдива,
Свободна, независима, горда
Не будет авторучка никогда,
Как перышко в задумчивом пенале,
В портфеле том, что сорванцы пинали,
Гоня его меж сумерек и льда...

* * *

Ветровой,
Подарочно-упаковочный,
Теплый грохот пальмового листа...
В синеве колеблется трап веревочный —
Тихо песня просится на уста.

Осьминоги, в медленных водах плавая,
Исчезают, повертываясь на свет,—
Будто есть у них, временами, правая
Сторона природы, а левой — нет.

Как бесплотной грусти изнанка плотная
Или блеск на полости дождевой...
Будто есть у них, порой,

Оборотная

Сторона, — а нет у них — лицевой...

Цепь камней горит серебром зеленым,
Трепет ветра плотный прильнет ко лбу...
А у чайки вскрик — не с одним наклоном:
То ли в небо зов, то ли зов ко дну;

Как пираты после ножа и палицы,
Будто вышив дно кровавым крестом,
Там морские звезды лежат без памяти,
Их сморило море слепящим сном.

На ответ повелительных уст похожий
(Для которых не может быть мнений двух),
Там тридакны слышен захлоп бульдожий —
Слабо цапающий, сыроватый звук...

Но как сеть, закинутую далече,
Я на суше свой укрепляю взор,—
Где дает, сверкнув, родники и течи
Берегов срывающийся узор...

И в душе смолкают слова и споры.
Наподобие как за спиною вдали,
Опадая, разглаживаются горы —
Великански-блаженные вздохи земли.

И пускай какой-то отрог прерывист,
Тенью стянут, судорогой сведен;
Это — с грустью жадной
Ручьи прорылись
Доглядеть последний
Печальный сон.

КОСМОНАВТ

*Памяти Юрия Алексеевича
Гагарина*

На бриге, рожденном из дыма и грома,
Не он ли к Луне улетал с космодрома?
Но взгляд, где остался огонь метеоров,
Чуждается вспышек в руках репортеров.
— Скажите, нельзя ли, в блаженном порыве,
Комету, как лошадь, похлопать по гриве? —
Но летчик молчит, предоставив поэту
Восторженную снисходительность эту.
Хотя — космонавтики раннюю ранью —
И вправду он был за неведомой гранью,
Ему, молчаливому, кажется странным
Так часто докладывать о несказанном.

СТАРИННЫЕ КОРАБЛИ

Памяти Александра Грина

Как прекрасны старые корабли!
Будто жарким днем в холодке квартир
Кружевницы гентские их плели,
А точили — резчик и ювелир.
 Как прекрасны старые корабли!..

Грациозно выгнуто их крыло
И настолько тонкий на них чекан,
Будто их готовили под стекло,
А послали все-таки — в ураган.
(Лишь обломки их под «стекло» легли...)
 Хороши старинные корабли!..

Были души: чистые как хрусталь,
Тоньше кружев, угольев горячей...
Их обидеть жаль, покоробить жаль...
А ушли они в перестук мечей,
Словно к мысу Горн
Корабли...

Да уж как не так! — перестук мечей
Сладкой музыкой был бы для их ушей!
Но ушла их жизнь... в толчею толчей,
На съеденье крыс, на расхват мышей,
На подметку туфель для мелкой тли...
Потому от них на лице земли
И следа следов
Не нашли.

...Опустелые, как безлистый сад,
Бригантины спят;
Им равны теперь ураган и бриз.
Паруса, как тени, скользнули вниз,
Такелаж провис...

Уж теперь и в прошлое не спешат:
Сколько могли — ушли...

...Но опять над вами сердца дрожат!
Но опять заботы на вас лежат...
И опять вам жребии подлежат —
О старинные корабли!

НЕРАСТОРЖИМЫЙ КРУГ

Исполненная гнева и печали,
Поэзия не базис, а надстройка:
Она голодным хлеба не устроит.

Но если, от поэзии подале,
Назад, к пещерам мы припустим бойко,
То нас и хлебом потчевать не стоит.

ПЕРЕВЕРНУТЫЙ САД

Шуршаний по траве отрывистых пробежки.
Порхает у плетней цветная духота.
То флоксов сладкий вздох, то запах сыроежки,
То — розы исподлбия куста.
Ночь серая встает. Дорогой, наклоненной,
Как чаша из кремней, и льющей звуки в дол,
Качая памятью их отклик монотонный,
Спускаюсь в тот изгиб, откуда день ушел.
Здесь дождь разбился днем. Из каждого осколка
Восходит кверху дном огромный смутный сад;
Там бродят купола дыхательного шелка
И, черепицей жабр покрывшись, моросят.
Такой же сад, как здесь, но более священный!
Из каждой лужицы светящего клочка
Он поднимается, чернея, вдохновенный,
Как тень внимания к поверхности зрачка,
Он медленно летит... Перегородка влаги
Курчавых рвений роц не может удержать;
Все клонится к тому в неполном сером мраке,
Чтоб роци мнимые к немным примешать...
Я образ их, к ногам кругами восходящий,
Как невод, полный грез, глазами достаю;
Я — одновременно во все концы летящей —
Притворно-спящую дубраву застаю.
Дубы ли, облака ль скользят, неуловимо
Преображенные? Напомнят пусть дубы
Мне гравированного пушечного дыма
По-детски грозные разрывы и клубы!
В них чудом уцелел последний вздох заката,
Когда, в бездонности кружащие и здесь,
Смешали волосы, как два кудрявых брата,
Дубы и облака в клубящуюся смесь.

ЛУННЫЙ СВЕТ

Переместилась тень, пересоставилась,
На лунный пламень облако легло.
И меркнет лунный свет —
Как будто вмиг состарилось
И потемнело серебро.

Подул предутренный... Бесцветно вкралось
новое...

Теням под лунный свет уже нельзя подпасть.
Но с тусклой прямою (как серебро столовое!)
Тем проще им теперь его украть.

Вдали, под тучами, под звездами падучими,
Еще не выступил зари прохладный пыл.
Но повернулась ночь. И рощи в ней раскручены,
Как возмущенный ил...

Ночь полубелая, свет неба полуголый.
Береза дальняя — как сорванных снастей
Моток распущенный...
В лощине невеселой
Осины светятся, как рыбы без костей...

В садах рассвет.

Луна, на нет сведенная,
Слабеет — тонушим обмылком голубым;
Все ниже клонится ее лицо бессонное,
Вконец изводится...

И сень дубов бездонная
Великой водорослью бродит перед ним.

БЕРЕЗА

За бродом, за переправую
Береза цветет над речками:
Не только листва кудрявая,
Но даже кора — колечками
Золотыми...

А лист у нее смеющийся,
А смех у листа заливистый,
А ствол — маслянисто льющийся,
А то — в поясах, прерывистый,
В перебоях...

Еще и волной разорвано
(Подобно письму зазорному)
Ее отражение влажное;
И сыплет флажки бумажные,
То краткие, то протяжные,
Вдоль теченья...

И мнится: не наверстается,
Сойдет, быстринной невзлюбленный, —
Но в тихой воде срастается,
Подобно змее разрубленной,
Ствол дрожащий...

Я знаю, что есть у омута
Черемуховая комната,
Где, вычерненная начисто,
Боящаяся вторжения,
Так робко береза прячется,
Что в списке лесов не значится!
Но выдало отражение,
О береза,

ТРЮИЗМЫ

Все едино? Нет, не все едино.

Пламя, например, отнюдь не льдина.

Плут о благе ближних не радетель.

А насилие — не добродетель.

 Все едино? Нет, не все едино:

 Ум — не глупость. Край — не середина.

 Столб фонарный веселей простого.

 Пушкин одареннее Хвостова.

Все едино? Нет, не все едино:

Детский самокат не гильотина.

Есть Большой, есть Маленький, есть Средний

Человек. (И Средний — есть последний!)

 Все едино? Нет, не все едино

 (И «Майн кампф» — не шутка Насреддина);

 Малый да Большой — едины станут,

 Среднего — и тросом не притянут!

Все едино? Нет, не все едино:

Волк не голубь. Жаба не сардина.

О единстве бухенвальдской печи

С Красотой — не может быть и речи.

 Все едино? Нет, не все едино!

 Нет, не все сжевать должна скотина;

 Разобраться прежде должен гений

 В *некоторой* разнице явлений.

Все едино? Нет, не все едино;

В рощах нет повторного листочка!

Потому что это «все едино»,

Значит — «все дозволено». И точка.

НЕМЕЦКИЕ СКАЗКИ

Как пресное тесто о пряностях терпких Востока,
По солнцу Востока германцы томились жестоко;
Чуть ветер — поверхность лазурную сказки германской
Пробег арабески капризной наморщит гримаской.

И Рейн омрачится в своих берегах золоченых...

Как если б насупленный темно-цветной арапчонок

За дверью стеклянной предстал, проступая... К тому же

Свой нос любопытный к стеклу прижимая снаружи.

И дрогнет хрустальная дверь заповедного Рейна,

Хитрющую тень пропуская благоговейно,

А черный шельмец улыбнется, как сказка живая,

(Унылую, грозную сущность Востока скрывая).

От века вот так — золотистое к черному льнуло.

(И диво ль, что черную палку оно перегнуло?)

Аравий смолистые страсти и ужасы Ганга

Нужны нибелунгам с белесого пресного фланга.

Им нужен Восток не для грез, а для кайфа и пары:

Так лавочник неповоротливый ценит кошмары,

Так черная корочка булке мерещится ситной,

Так рыжую дуру смущает мулат колоритный.

И только поэты

(Бессмертные, я разумею!)

Глядят на Восток, не рискуя свернуть себе шею.

(Германцы? Не важно: германцы, испанцы ли, греки,

А важно: не сверхчеловеки, а всечеловеки!)

Далек Джиннистан и опасен!

Лишь Гауф и Гофман

Достигли его, ручеек перешедши по бревнам;

Им лотос был нужен. Лишь лотос! А это немного.

Но лотос раскрылся — и скальды увидели бога.

...Откуда мы взяли, что вещая жизни загадка

Сродни аппетиту? И выглядит лакомо, сладко?

И надо ль быть гением, чтобы приметить незлобно:

И пред нами Земля. И явленье сие — не съедобно.

СЛОИ

Поэзия многослойна.
Слоись и пластуйся, поэт!
Слой чередуются стройно,
А слоя правдивости... нет!
 Всего-то в поэзии много...
 Но стоит взглядеться в пласты:
 Как часто
 В бездонности слога
 Скрывается страх прямоты!
И рвенье украсить греховность.
И трезвый расчет: колдовать!
И — чтобы служила условность
Единственной цели: назвать
Все вещи не их именами...
 Ах, полно шутить нам над нами!
 Лишь истина стоит забот.
 «Слой» получают сами,
 А правда сама не придет.

ПОДПИШЬ ЗА МИР

Война нравится только тем, кто
не испытывает ее на себе.

Эразм Роттердамский

В черных ладьях полудикие песни проплыли —
Хриплые песни военных, на рыцарский лад.
Грустно их слышать, на свет извлекая из пыли
Хоть бы и лучшие доблести лучших солдат.

Мало прошло по земле справедливых баталий:
В черной отаре — лишь несколько белых овец!
Но и в приятнейших войнах, как мы подсчитали,
Все-таки самое славное время — конец.

Как бы то ни было, сердце пленяли невольню
Храбрость, отвага и мужество шедших на бой:
Телом рискующих (вечной душой, как ни больно!),
Жертвы берущих. Но жертвующих и собой.

Даже в погибели крылась живая основа —
Гении славы смягчали и худший исход.

Но порассудим (уж коль доживем до такого):
Разве *солдат* на последнюю кнопку нажмет?

Разве *герой*?

Разве рыцарем надо родиться,

Чтобы на клавишу смерти — лилейным перстом?!

(Есть отчего молодцу гоготать, заноситься,

В чарку глядеться, усы завивая винтом!)

Где они все? Как подвижники, так святотатцы?

Храбрость и трусость? Султаны из конских волос —

И костыли лазаретов? Да все это вкратце!

Вкратце настолько, что к махонькой кнопке свелось!

Может быть, это и к лучшему? Легче и проще
Мигом загинуть, чем вечные слезы точить?
Жалкая кнопка!

Но как пресмыкание от мощи,

Подлость от подвига как при тебе отличить?

Стоит ли всадником, лучником, рыцарем зваться?

Вздрагивать, вскакивать, спрыгивать, ползать, бежать,

Лезть, гарцевать, наклоняться, пришпоривать, мчаться,

Мускулы холить? Зачем?

Чтоб на кнопку нажать?!

Бедная кнопка,

Последняя кнопка вселенной!

Ба! — и Ахилл, и трубящий, как раненый лось,

Дерзкий Роланд, и наглец Ланцелот несравненный

В реюющих перьях — и все это в кнопке сошлось?

Надо ли быть Геркулесом, Атлантом, Зевесом?

(Надо ль греметь барабану, а лошади ржать?)

Надо ли слабым хотя обладать интересом

К фортификации, брат, чтоб на кнопку нажать?

Надо ли было рядиться в мундиры и латы?

Шлемы ковать или вече сзывать, например?

Кнопка не выдаст, что кони бывали крылаты!

В кнопку свои легионы увел Искандер...

Горе! Сжимайся не в боли — сжимайся в размахе!

Падайте, тысячелетние слезы, в цене!

Сдержанность Гектора, горестный вскрик Андромахи,

Плач Ярославны в Путивле на древней стене —

В кнопку, туда же! (Лишь только бы после ошибкой

Дружеский пепел не путали с вражьей золой!)

Пошлый и слабый нажмет с идиотской улыбкой...

Грубый, слепой, раболепный... (А впрочем, не злой...)

Доблесть, однако ж (казалось, нажал бы — и ладно!),

Доблесть не гаснет, а только меняет места:

Квакнет, нажмет — и почувствует... «гордость

Роланда»,

«Ярость Ахилла» и — может быть! — «святость Христа».

ЗНОЙ В ЛЕСУ

Ель столетняя упала —
Полподлеска растрепала,
Путь закрыла пешеходам,
В чащу влипла — столь смолиста!
Так Циклоп, упившись медом,
Бросил ковш — и сам свалился.

Неприметною стопою,
Тень да ветер взяв с собою,
Утро нехотя прошло.
Как заржавленную ставней,
Ночи свежестью недавней
Скрипнет галочье крыло...

Но трава и медуница
Уж росую не дымится;
Как известка потолков —
Обморочных мотыльков
Сел везде конвертик белый;
Пень чернеет обгорелый,
Уголь — смушками на нем;
За каракулевым пнем
(Пнем из угольных мерлушек)
Горячо, как тени пушек,
Тени сосен залегли...

Запаляя фитили,
Раздражительный и гневный,
Наступает зной полдневный;
Замешательство и зуд
Муравейники несут...

В синеве, лишенной складок,
Как бы илистый осадок.
Бор тускнеет вороной;
Распаляясь, как вендетта,
Хмуро катят волны света,
И хмелеет перегрето
Запах плесени грибной...

УСТУПКА РАВНИНЕ

Цветных осенних листьев полны мои карманы.
Осенние осели на волосах туманы.
Не те же ли, что в небе дрожат на перьях уток?
Хотя необозримый открылся промежуток
Меж утками и мною. Когда, со дна оврага,
Слежу за их отлетом, не ускоряя шага:
И нити между нами натягивает влага...
И рвется их станица, как мокрая бумага...

Как поднятый ветрами последний листик сада,
По воздуху за ними уходит точка взгляда:
Плутает точка взгляда подобно утке лишней,
А сбить ее нетрудно хоть косточкой от вишни!..
Так — не идя за ними, а все же отставая,
Невольно застываю, как вежа верстовая:
Прощай, недорогая причастность очевидца!
Глядеть на птицу в небе — и есть остановиться.
Глядеть на птицу в небе — всегда глядеть
с вокзала...

Но лестно мне, что сырость нас общая связала.

ВЕЧЕР

Спят облака, словно отмели красных креветок.
Взрывают птицы
Покой сиреневых веток;
Фыркающими пачками карт атласных
Трещат их крылья
В сумерках вечера ясных.

Весь день на солнце
Пели напев любимый,
Хочется им и теперь щебетать — и при звездах!
Комар запел одинокий, почти незримый —
Тонок и слаб, как завязанный бантиком воздух;
Скулит и ноет, парит невесомой обузой —
С выступа сумерек свесил тесемки-ножки...
И, укрощенный неждешней, но цепкой музой,
Мир засыпает под звуки его гармошки.
И — полила полумгла дорогой наклонной...
Но облака все пылают алой золою;
Дюной багряной,
Отмелью рдяной,
Заводью сонной —
Тонким бесценным песком текут над зарею...
То не титаны ли хлеб золотой
Пекут над дальней геенной?
Перетомясь в испытаний последнем тигле,
С этого мига — мнится — уже неизменны,
Кажется мне, что бессмертья они достигли!
Но... до неузнанных черт облака остыли,
Не расступаясь, не двигаясь, растворились.
И одуванчиков легионы
Тихо закрылись —
В прекрасный мир
Иллюминаторы
Золотые...

ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ БЛЕСКА

1) Находчивость в ответах

При споре и в беседе

Случается от прочных

И выстраданных мнений,

От опыта в раздумьях

Того, кто в споре с нами

Или в живой беседе

Находит мыслям русло.

2) Находчивость в ответах бывает и от злого,

Дрянного отношенья ко всем и вся на свете;

От бойкого нахальства,

В котором быть не может

Ни вежливости трудной,

Ни страха вас обидеть.

3) Ведь тот, кто уважает

Или (того тяжеле!) —

Кто любит вас, — тот редко

Блестящ и колок с вами;

Жестом неосторожным задеть он вас боится;

Тем более — в подборе и слов и выражений

Он, точно пленник, связан.

4) И даже если точный, блистательно-лукавый

Ответ он держит в тайне, — и то — чудесный козырь

Он впрок приберегает;

Когда один при свечке,

Раскрыв свои тетради,

Перо добряк очинит, и — с воздухом заспорит;

С ночью тьмой, царящей за окнами, сразится, —

То время, то пространство, то сам уклад вселенский
Ловя на предрассудках...

5) О, трижды прав далекий
 От устных излияний!
Звук речи — та стихия,
В которой, неприметно захлебываясь, гибнут
Все помыслы благие.
На девять миль длиннее, чем мы подозреваем,
Язык наш — корень адов!
Наш разговор не только приятностями скрашен:
Он для натур несмелых
 Превратностями страшен,
Как шаткий путь синдбадов!

6) Находчивость в ответах —
Резерв паркетных снобов,—
Нутром — малюток нежных,
 Но хваткой и напором —
 Уцельных великанов!
Находчивость в ответах
 Рождается за вистом,
За веером раскрытым, скрывающим усмешку,
 Змеящуюся грубо,
Да смертную зевоту...
Находчивость в ответах
Живет в одном приходе
С тобою, скука мира...

7) О, ты бываешь всякой,
 Словесная сноровка!
Свидетельствуя часто
 О чувствах беспощадных,
О склонностях презренных,
 О низком воспитанье,
 Злорадстве, вероломстве...
Вот почему не плакать, а радоваться надо,
Не каждой краской спектра
Подобного владея!
Блеск Евиного змея
К нам не тогда приходит,
Когда мы сердцем чисты и вымыслом бездонны,
Но иногда — что делать! —
Он к нам тогда приходит,
 Когда мы — беспардонны!

8) Ах, тот, кто много мыслей
Во лбу своем содержит, —
 Не вдруг решит, какая
Из многих тысяч — лучше
 Для быстрого ответа.
А тот, кому Фортуна
Три мысли подарила,
Уже тот (наверно!) знает:
 Где у него — какая...

9) (И вот что, между прочим,
 Тут надобно отметить:
К двум-трем своим насущным,
 Единственно возможным,
Прибавив три чужие,
Ведь все же таки сразу —
 Не много и не мало —
 Шесть мыслей получаешь!
А сколько вариантов?
 Те — вовсе бесконечны!)

10) Базарная торговка
(Попробуйте-ка с нею
Заспорить!) вас бойчее
«Отбреет», чем Сенека!
(Опять — читайте выше! — базарная торговка
Не друг для человека!)

11) Руссо боялся острых,
 Усаженных шипами,
Парижских язычков,
 Быстрей кофейных мельниц
Вращающихся в «свете»,
И на вопрос вопросом,
 Остротой на остроту —
 Не мог ответить сразу...

ТРЕМОЛО

Мысли дремлют вмиг обестревоженны.
Но и сам покой глядит подвижником.
Ночь, как дума, смотрит в окна темные...
Вижу: между звуками проложены
Улицы, мощенные булыжником,
Длинных юбок тенью подметенные.

А в каретах,
В их коре ореховой,
Разъезжает отголосок эховый,
Пудреную голову склоняющий
На подушки лунные,
А затем — ее роняющий
В переборы струнные.

О, какой булыжник был сиреневый!
Черных лужиц флейты в счет не брали.
(Спец позднейший, — ты уж сам оценивай
Золото печали!)

Лишь потом откроют, что вселенная
Суть не то, что флейты обещали:

Не такая вовсе вдохновенная,
Не стройна и не кругла нимало,
Холодна, грязна, не так возвышенна,
Жабьей головой своей наслышана

О краях провала...

Отчего ж так веришь этой музыке?
Чтишь ее, в ее бессмертной узости,
Будто правду предсказала?

СКРИПКА СУМЕРЕК

Дышат снегом на флоксах росинки...
В поздних сумерках зренье теряю.
Но, взойдя на дорогу с тропинки,
Новым зреньем глаза расширяю.
 Лужи спят на дорогах ненастных.
 А на их перламутровых бельмах —
 Срезы крыш, по-вечернему ясных,—
 Остротá чердаков корабельных...
Лунка льда в миражи дождевые —
Как стеклянная дверца раскрыта:
Там веревки дрожат бельевые —
И на снасти похожи до вскрика!
 Скоро инеем станет прохлада...
 Что там, в поле? Хомяк или кролик?
 Или — призрак усталого взгляда —
 Это сумерек дернулся промельк?
Журавлей горловая валторна
Отжурчала за снежною тучей...

Скрипка сумерек!
Спой мне повторно:
Дай мне Веру, Надежду и Случай!

ФАЛЬШИВАЯ НОТА

То светло в дубравах, то темно:
Рыбки света, вспыхнув плавниками,
То проступят в листьях, то — на дно
Куп шумящих — канут косяками.
Вновь — затмение, и снова — медь
Яркой ряби кущи заливают...
Это снова рыбки? Или сеть,
Рыбок упустившая, всплывает?
Белые, душистые, во мглу
Поднимаются из трав, из тмина,
По венецианскому стеклу
Лунной ночи — пузырьки жасмина.
Зной. Не выступая из границ,
Тень стоит посольством папуасов.
И жасмин — на дне их черных лиц —
Как белки катающихся глаз их.
Я и в свете, я и в той тени...
Кто там?! — в оупении счастливом
Там стоят базальтовые пни
С каменным улиточным завивом.
Правда, что их вид немного дик,
А восторг — слегка эгоистичен:
Кажут тень друг дружке, как язык,
Тянутся для тайных зуботычин...
Не следит ли здесь за мною гном?!
Верю (хоть не думаю нагнуться),
Что цветы, не найденные днем,
В темноте — по запаху — найдутся.
Что за счастье, Ночь, в твоём саду
Всем чуть слышным и совсем неслышным!
Но... как жало, скрытое в меду,
Соловей уже казался — лишним.

ВОСХОД ЛУНЫ

Нас четверо. Мы идем по дороге вниз,
Позади оставив закат.

Обширными складками — склоны, как лунные цирки,
круж́ат.

А там — известковой осыпи газовый шарф повис...

Петляет под ним, обрываясь, оранжевая тропа.

И, как днем, видны

У преддверья большой, но еще не взошедшей луны
Коровьи в песке черепа.

Как школьник наказанный,

Весь

Фосфорическим мелом измазанный,

За грифельной дверью шуршит, войти не решаясь,—

Первую щелочку в небесах

Приотворяет луна,

Легким дыханьем вдали косогоров касаясь...

Быстро бледнеет восток. Но солнце еще не зашло.

И непонятно, что подожгло

Пустынным светом

Красный песок:

Солнца ль последний, седеющий волосок

Или, до срока таящаяся, луна,

В осыпях ярких

Косвенно отражена?

Их тепловыми трельяжами

Повторена?

И вот промежуточный миг! Смотри:

Ни луны и ни солнца нет!

О свет со странностями! Срединный,

Блудный, чудаческий свет...

Словно вздувается небосвод
Перед восходом луны,
И мы — как в чудовищный мыльный пузырь,
Бегом раздвигающийся вширь
И царственно ввысь плывущий, заключены.

И вдруг, впереди, на тропке,
Срезающей поперек
Наш путь к большой котловине,
На тропке резкой и пограничной
Меж спуска медленностью привычной
И смелым креном к долине;

На тропке, что черепицы алей,
Змеи изнуренной тише,
На грани двух кукурузных полей
Спит, как на гребне крыши,—

Единственная дождевая
(С последних дождей живая!)

Лужица засветилась
Бляхою ярко-бесцветной;

Застыл над круглой пустыней
Ее бесчувственности алюминий

Дальнепланетный.

Она как воздух, который блеснуть не может,
Который пуст, но и в толщъ земную
Тоннель проложит,
Трубу прорежет. А та прозрачна, светла,
как прорезь

В массиве мира — через которую почты нет,
Но сквозь которую стран антиподводных свет
И здешний свет — переглядываются,
Не ссорясь.

ДИСКИ

Скача (как на перекладных
Лягушках, вместо лошадей!),
По дискам сухости бежим,
Раскиданным среди дождей.

В летучих комнатах тепло.
Но в них остаться не хотим,
Ныряем в ливень — потому,
Что все равно неотвратим.

На нас дивится Дискобол!
И все еще, по временам,
Вдогонку,
 Под ноги
 (В сердцах!)
Площадки суши мечет нам.

ЛИСТОПАД

Заюлил, заплакал ветерок, —
Отпросился к тучам, вихрем стал могучим, —
И уже... свалившийся у ног
Лист падучий в раковину скручен.
Сыпя цокот — льдистую крупу,
Взмыли верховые — ветры вихревые;
Оглушили пеструю тропу
Черным лаем пни сторожевые.

Точно пеплом небо ослепил
Сорный и сухой порыв осенней бури;
На голову фартук налепил
Пятящейся издали фигуре.
Сто ветров на ней стянули сеть:
Навертели ей на грубые ботинки
Пыльную дорогу. А на все
Пальцы рук — побочные тропинки...

Рощи завиваются винтом,
Крутятся юлой среди равнины мрачной...
Поздний луч — захлопнутым зонтом —
Чуть краснеет в полумгле табачной.
Луч отрадный! Только в этот час
Горечь так сильна и так слаба отрада,
Будто тень Верлена пронеслась
В призрачной воронке листопада...

* * *

Поворотилась на тихой оси планета —
Заговорили деревья толпой сердитой...
Печь забелела в углу, в серебре рассвета,
Каменной редькой, очищенной и отмытой.
 Стекла оконные дымом заря питала,
 Венские стулья за спинки лучом хватая...
 К слову, как нимбы, тающему: «Светало» —
 Первая в жизни рифма пришла: «Святая».
...Библии старой — всю ночь не спала! — страшилась.
Темных ее картин избегала взора...
Вся — подозренье, не спать до конца решилась,
Маясь тоскою, что утро еще не скоро,
 В темной ночи плутали, грустя и плача,
 По лесу Красная Шапочка и Козетта...
 Тихо несла Колыбельная песнь Рыбачья
 Люльку младенца по серым морям рассвета...
Тени тускнели... И вот, просочив телами
Смутную стену, вскипали чудовищ горы;
Скосив глаза, наблюдала за их делами,
За жизнью мрачной, влюбленной в свои повторы...
 (Могла ли знать, поражаясь упорству тени,
 Как будто винтик на месте какой «заело»,
 Сколько еще возвращений и повторений
 Тьмы, что и в первый раз — давно надоела!)
...Звезды слезятся,
На землю глядеть не смеют —
Так далеко переставил их мрак непрочный...

Снизу, как ветер,
Подул полусвет молочный;
Камни являются,
Пятна земли белеют —
И темный
Сон
Приходит,
Когда, при виде
Алого утра,— звезды дрожат в обиде...

ПУШКИН

К чему изобретать национальный гений?
Ведь Пушкин есть у нас: в нем сбылся русский дух.
Но образ родины он вывел не из двух
Несложных принципов и не из трех суждений;

Не из пяти берез, одетых в майский пух,
И не из тысяч громких заверений;
Весь мир — весь белый свет! — в кольцо его творений
Вместился целиком. И высказался вслух.

...Избушка и... Вольтер! Казак и... нереида
Лишь легкой створкой здесь разделены для вида;
Кого-чего тут нет!.. Свирель из тростника —

И вьюг полнощных рев; средневековый папер,
Золотокудрый Феб, коллежский регистратор,
Экспромт из Бомарше и — песня ямщика.

ЭДГАР ПО

Не думаю, что мрак его души чрезмерен.
Рисуя грозный цех, где сера и смола,
Он краски не сгущал, а был натуре верен:
Ведь преисподняя и впрямь не весела!

Но, сам спускаясь в ад, он брал с собой, как веер,
Как нежный лед ко лбу — прохладу ремесла...
А нам? И жар, и смрад, и,— чтоб над нами реял
Весь ужас ночи! Но... поклясться бы могла,

Что это наш заказ, хоть мы не признаемся!
А разве свой кошмар мы рассказать не рвемся?
Как?! Разве ускользнуть позволим мы ему?!

Э, нет! Как протокол мы разбираем сказку.
И страшным снам даем такую же огласку,
Как преступлениям, свершенным наяву.

* * *

Снисходительный гром потеплений —
Облаков вечеряющий гений,
Тихо сходящий
В подземелье ночи весенней
И рукой по лбу проводящий.
Снял шолом и держал будто чашу,
Будто нес в нем горячую кашу —
Странный воин, отвыкший сражаться!
Все черты его тайной дышали...
И какие-то мысли
Мешали
Над землей за перила держаться...

Но лишь раз о ступеньку споткнулся —
И застыл над невнятицей гула,
Пробужденного гаснущей славой...

Только раз, уходя, оглянулся.

И лицо его странно блеснуло
В тихой сырости ночи кудрявой...

«ПРОЗОРЛИВЫЕ»

О, «прозорливости» орлино-острый взор!
Он видит вас насквозь!
Он режет вас в упор!
В нем — быстрый суд, апломб, усмешка и отвага...
Вздор!
Лучше семерых зазря перехвалить,
Чем грязью одного безвинного облить
(Чтоб не вазнался этот бедолага!),

Как «прозорливому» глядеть не надоест?
Решив заведомо, что все на свете — жест,
Что слишком гордо пес свою похлебку ест,
Что, и подстреленная, лжет, рисуясь, чайка,
Цены не придавать, по сути, ничему,
Лишь подозрительности нищую суму
Беречь,
Как золото Клондайка!

Ах, если всюду ложь, не тот ли индивид
Открытjem Истины народы удивит,
Кто примечателем холодным остается?
Но вот что главное: открыв так много зла,
И каракатица заплакать бы могла!
А он-то (человек)? Да он, никак... смеется?

Зло, стало быть, открыл?
И дал острастку злу?
Эх, мышь разоблачил, дрожащую в углу.
Что делать... Не везет с открытиями явно
Ни детям уксуса, ни адовой смолы;
Открыть (добро ли, зло ль) не могут те, кто злы:
Зло слишком близко им, а благо им —
Забавно.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Тому, кто есть Рабле, — прощаешь грубость шуток.
А кто не есть Рабле — тому наоборот:
Так и напрашиваются «пятнадцать суток»
За в точности раблевский оборот!

Вопрос таинственный и сложный для науки...
Все чтят Боккаччио. Однако ж вот Барков
Откальвал небось и не такие штуки,—
А каково ему на блюдечке веков?

Что гений ни сморозь — оно всегда прилично.
Какой ни выкинь трюк — получится мораль,
И блеск, и нравственность... (Хотя бы сам, публично,
На четвереньках он прошел через Версаль!)

А тут — бранись, как Свифт, будь, как Вийон,
вульгарен,—
Увы! — никто тебе не будет благодарен.

САМОРУГАНИЕ

Саморугание — коварнейшая штука:
Вот где кородивости непочатый край!
Пускай раскаянья скрываема мука
Игрушкой площади не станет невзначай.

Но если тайны нет, и все должны быть голы,
И нет заветного на свете ничего,—
То факта нам не скрыть — и столь солидной школы,
Как... унтер-офицерское вдовство.

Себя,— кричат,— ругай... Подумать, блажь какая!
Совет ослепнуть там, где нужен глаз да глаз?
Ведь ближнего — всегда бранишь, не называя,
А выругав себя — подпишешься тотчас!

Нет! Пусть мой грех простят (иль не простят) —
заочно.

Пусть сами думают: он мал или велик?
Но пусть его размер никто не знает точно.

Что, критик, тяжело? А ты поплачь, старик...

ИЗ ПИСЬМА ШЕСТНАДЦАТОГО ВЕКА

«...Смеясь, что я поэт, и ставя в центре мира
Натуру против грез и факты против чар,
Винченцо, наш купец, философ и проныра,
Ушел с победою, сбыв мне плохой товар.

С двумя победами, точней. Но я, обновой
Довольный,— риторством его пренебрегу:
Почтительно признав Винченцо дар торговый,
Мыслителя я в нем одобрить не могу.

Или... наоборот, скажу (любую фразу,
Всю логику его разящую признав):
«Зато он ни сукном, ни бархатом не прав!»
Но не могу же я войти в два дома сразу:
Разуть глаза на мир, увидеть «жизнь как есть»
И доброму сукну... плохое предпочесть!»

* * *

Старый берег, туманом заваленный,
Кораблей и вельботов борта.
Мертвой рыбины взор опечаленный.
Лоцман, трубку держащий у рта.
К заливаемой тумбе причаленный,
Весь осклизлый — обломок плота.

Человека в туманах ведущую,
Слышу песню непрóжитых дней:
Словно водоросль, горько-цветущую,
Гонят волны в простор пристаней
(Хоть и бросят потом — неимущую —
Лишней тенью — в ночлежках теней).

Пелена океана вздувается —
Подступает с волнами тоска;
Глас познанья
У волн обрывается —
Одновременно с кромкой песка...
Тайна времени переливается —
Тень зеленую ловит рука...

Доброй ночи вам, срезы овражные
Маслянистых и пламенных глин!
Есть и в жизни те шелесты влажные,
Что (из дерзости) выдумал Грин!
Сны сокрытые, клики протяжные —
Прорицатели темных глубин.

ОБЛАКА

Горят облака на закате;
Сверкают, как бранные рати,
Как свежий надрез на гранате,
Как золото в царской палате...

Красно, тяжело нагреваясь,
До самых бровей багровеют,
Но к ночи
Становятся кротче.
Теплом фиолетовым веют.

Над лесом они зеленеют,
Блестят, над затонами стоя;
Вторым водяным отраженьем
На них отражается хвоя...
Что дальше, то глуше, слабей...
Не так ли над золотом блюда,
От пальцев
Зеленые пятна
На ножках грибов остаются?

Но мрак совершился вечерний:
Заросли поглубинели.
Как сажа (цветные недавно),
Как тушь облака почернели...
Я шаг их слежу молчаливый,
Я образы их вопрошаю,
Я с ними (не здесь, а на небе!)
И сны, и надежды решаю.

Меня и теперь не пугает,
Что их вопрошаю — с рассвета;
Что долг прожду
Или вовсе
Остаться могу без ответа;
Что были вопросы — дневными,
И к свету стремились дневному;
Что, тенью ночной искаженный,
Ответ
Долежит
По-иному...

ЛУНА

Та область,
Куда космонавты, вдвоем
(Не то из Подвала, не то с Потолка!),
Шагнули, — взволнован Луны водоем
Ракетой-бадьей на веревке рывка,

Вторженьем землян, лунохода клешней...
Не странно ли? — детям, рожденным сейчас,
Под новой, дающейея в руки, Луной,
Уж той не видать, что сияла для нас!

...Сбылось!
Поколений великий накат
На две половины Луна рассекла;
Одна — воздымала к ней пламенный взгляд,
Другая — сама к ней дорогу нашла.

Но лунное счастье — па чьей стороне?
Не знаю... Ведь нынешним детям Земли
Приходится жить при доступной Луне.
А мы — недоступную видеть могли.

* * *

Размеренно, неизменно — не ранее и не позже
(Не бог ли мчит на тритонах — незримые держит вожжи?)
Опять опадает пена — зигзагами, как поземка.
Опять в уключинах весла
Поскрипывают негромко...

Река протянула руки за видимые пределы.
И лодки ее — как луки. И весла ее — как стрелы.
А цель ее — море, море... А цель у моря какая?
Свою свободу лелеять, в ладонях ее качая.

На отмелях золотистых играют синие бризы,
Захлебывающихся ракушек
Позванивают сервизы...
Уходит берег зеленый, уходит золотостволый,
И кто-то шляпою машет
В задумчивости веселой.

ЗАКОН ПЕСЕН

1976-1980

I

* * *

Полетел сереброкрылый «ТУ»,
Розовую зиму облаков
В летнем небе встретил на лету,
Пролетел сквозь них — и был таков.

В предвечерних гаснущих тонах
Сизо-алый клеверовый склон.
На откосе, как босой монах,
Одинокый бледный шампиньон.

Уж росе и сырости ночной
Начал день позиции сдавать,
Но небесной трассе надо мной
Не придется долго пустовать!

И опять
Над далью сжатых нив
Самолет...
(И к северу небось?)
В поле зренья мчался, молчалив,
А исчез — и громом отдалось!

Чем-то дразним мы небесный гнев:
Часто музы покидают нас.
Надо переждать, перетерпеть,
Неблагоприятный, смутный час.

Пусть и на земле притихло... Пусть
Иногда запаздывает звук;
Жди: молчанье долго сжатых уст
Новой песней разорвется вдруг.

ПОСТУПЬ СВЕТА

Островки травы
Уже открылись в парке.
Блики солнца яркие.
Бледной синевы
Перепевы спят
В пластах последних снега.
Прошлогодний лист кидается с разбега
Под ноги. И нега
Обегает сад.

Зренье изнуряя всеми степенями
Света (сговор света на лету — с тенями),
Тени (сговор тени с светом на лету),
Роци пахнут тенью. Тень сквозит зеленым
Пламенем. А свет ступает ослепленным
Старцем, простирая руку в пустоту.

Руку в пустоту, но радуясь пустотам,
Ибо кто войдет в них — выйдет не банкротом,
Хоть не видно — кто там;

Чей прищур цветущий на сухих местах?

Льдистые ль доспехи скинул
стебелек брусничный?

Или это сам подснежник? (Слишком симпатичный,
Чтоб не прятаться в нарочно съезженных листьях!)

Так, в «гусиных лапах» скрыв улыбку лета,
Вдаль плывут морщины старческого света;
Свет аквамаринный, старинный, дряхлый свет,
Чей хрусталь состарен так, что уж не бьется!

Лишь над временем смеется,
Не страшась грядущих бед.

Так, по островкам травы,
По канавам серым,
Чередую роц, за облаком-сырцом,
Свет идет слепцом,
Свет шествует Гомером,

Старцем неимущим
С посохом цветущим,
С поднятым лицом.

ЗАКОН ПЕСЕН

Хороводы вакханок в экстазе,
Фавна к нимфе копытца несут...
Что ж, сойдет, как рисунок на вазе,
Но для лирики — чистый абсурд!

Лишь небесная страсть остается
В песнях вечной. (Лаура, живи!)
Существует, но вряд ли поется
Земноводная грубость любви.

Кто там в рощу так робко прокрался?
Притаился под сенью ветвей?
Пой! — пока на балкон не взобрался,
Не назвал Инезилью своей.

Пой — пока, по искусства законам,
Девять Муз во главе с Купидоном
Девять шелковых лестниц совьют...
Серенады поют — под балконом.
На балконах — уже не поют.

И, тем паче, с высот геликонов
Тот сорвется, кто тайны притонов
С гордым видом выносит на суд.
(Вас на пуговицы переплавят,
Сир! А пуговицы — пропьют!
Кто же карту крапленую славит?!
Спрячь ее, незадачливый плут!)

Очень многое — так нам сдается, —
Существует. Но... ах! — не поется.
Грусть — поется. Надеждой на чудо,
Упованием песня жива.

Но у блуда нет певчего люда;
Вещий голос-то взять им — откуда?
(Что поделаешь — жизнь такова!)

Только тот, кто любви своей силой
За возлюбленной тенью в Аид
Мог спуститься,—
Тот песню для милой
В неподкупных веках сохранит.

Коль же скоро во всяком напеве
Похоть та же и разницы нет,
То за что же вакханками в гнев
Был растерзан великий поэт?

Жизнь — цветок. Ей закон — аромат.
Не ищи же, теряясь по сортам,
Божью искру в Калачестве Тертом,
Друг мечты и романтики брат!

Пой — цепляясь на лестничном шелке;
Пой — пока твои мысли невинны
И пока на губах молоко
Не обсохло...

Пути твои долги,
Твои лестницы — длинны-предлинны,
Твой балкон — высоко,
высоко...

КРУЖАТСЯ ЛИСТЬЯ...

Кружатся листья,
 кружатся в лад снежинки.
Осень пришла,— темно и светло в лесах.
Светятся в листьях розовые прожилки,
Словно в бессонных
 и утомленных глазах.

Летнюю книгу эти глаза читали,
Мелкого шрифта вынести не смогли
И различать во мгле предвечерней стали
Только большие — главные вещи земли.

Прносятся кругом цветные листья
 над садом;
Глаза их прозрели,
 да, только прозрели для тьмы.
Вьются снежинки,
 кружатся листья рядом,
Реют,
Верят
В пылкую дружбу зимы!

Падают листья липы, дубов и клепа...
Звездочки снега сыплются с высоты...
Если бы знать: насколько зимой стесненно
Или свободно лягут под снегом листья?
Если бы знать: какие им сны
 приснятся?

Что нам готовит их потаенный слой?
Что им сподручней: сверху снегов
остаться
Или под снегом скряться,
как жар под золой?

Танцуйте, танцуйте!
С холодным снежком кружитесь,
Покуда снежинки так запросто с вами
летят!

Только до срока
под ноги не ложитесь,
Чтобы
Не скрыла
Вьюга ваш яркий наряд!

Танцуйте, танцуйте!
Ведь это последний
танец!
Кружитесь,
кружитесь,
Ведь время,
время не ждет!

О ЮМОРЕ

Говорят: «Народный юмор груб.
Грубостью простому сердцу люб».
Что вы! Юмор грубый чересчур —
Он как раз для избранных натур!
Старый вертопрах
наедине
Шепчет сальности чужой жене.
Вроде бы и юмор площадной,
Ан, глядишь, рассчитан для одной.
Муженек в угоду девке ржет.
Посмеяться так же в свой черед,
В стороне, с улыбкою кривой,
Ждет жена соломенной вдовой.
То-то и оно, что грубый смех —
Смех кустарный, редкий, не про всех!
Не скажу, насколько он прожжен,
Да не про детей и не про жен!
Груб, а ведь не каждого берет.
(Ржет конюшня — да и то не вся!)
Что за притча? Что за анекдот,
Если вслух рассказывать нельзя?
При мужьях нельзя, при стариках,
При маэстро, при учениках,
Там, где людно, там, где молодежь,
При знакомых, незнакомых — то ж...
Если двое крадучись идут
«Посмеяться», третьего не взяв,
Скоро эти двое создадут
Царство смеха на его слезах.
Если шутка выстраданный вкус
Истинных артистов оскорбит,
Что же в ней «народного»?
Божусь, —
Лишь филистер грубостью подбит!

Говорят: «Народный юмор груб,
Грубостью простому сердцу люб».
Что вы! Юмор грубый чересчур —
Он как раз для избранных натур!
 Вот смеются у дверей в кино.
 Разве я не так же весела?
 Но — что делать! — с ними заодно
 Посмеяться так и не смогла...
...Спутник селадонов и блудниц,
Черных лестниц, краденых утех,
Смех «плебейский» — для отдельных птиц.
«Аристократический» — для всех.

Скажи: кто принял бой, тому
Неверных радостей не надо.
Он ищет заповедный скит,
Где мысль и действие едины,
Где темный дуб распространит
Свои права на полдолины,

В пути приют скитальцу даст,
Стрелу грозы обезударит,
В ночь
Рассвета первый пласт
Вершиной чуткою нашарит.
И, позабытое дотоль,
Там снова детство будет сниться,
И невоспитанная боль
Веленьям чести подчинится.

III

За воздушной оторопью радости
Волок туч — надбровными изломами...
После долгой влажной в веках тяжести —
Избавленье — с молниями-громами.

После дымки, дымки ослепления, —
Блеск разрыва — бомба узнавания.
Вдох гражданственности,
выдох музыки —
Гнева с грустию чередование.

После пылких грез, восторга, трепета —
Взгляд поднять чугунно-вопросительный,
Рассмеяться беспардонным хохотом
Над мечтой единственной, спасительной!

После иноходи
в горы опрометью
Улетает всадник
в ночь;
Гневной отповедью,
жаркой проповедью
Строчек плачущих скачут
лучи...

Шум грозовый ив да чинар
По бокам, в ущельях-котлах.
Заштрихован не дочерна,
Путь кремнистый светит

впотьмах.

А внизу, в долине ночной,
Карнавальных масок разброд.
(Иронично так

за спиной

Мокрой шевельнул бахромой
Золотых огней разворот!)

Вот копыта стали слышней,
Черный грот зевнул,
и ужé,

Вея изнизу,

до ушей

Музыка слабей достает...

А туман набирает мощь,
Подымается в полный рост!
Сколько свежести

между масок и звезд

Уместила синяя

ночь!

Выше, выше вьется тропа,
Камни в росах чище, белей...

И уходит складка со лба

С тенью ветра

в верх тополей...

...Царский зрак объехав по закраинам,
Слава утвердилась и усилилась.
Как звонка ты, бронзовая статуя!
Из одних рукоплесканий вылилась!

Но чем громче гомон почитания,
Чем звончее бронза пьедестальная,
Тем уклончивей,
тем неразборчивей

Имя дольное,

фигура дальняя;

Тем суровее, тем несговорчивей

Чистая душа, душа печальная.

ОТРАЖЕННЫМ СВЕТОМ...

Вот солнце: пламенно, бессмертно, бесконечно.
Дарует людям жизнь. Рассеивает мрак.
А вот луна: займы берет у солнца вечно!
Планетка так себе... Не правда ли — пустяк?

Но пусть на солнце курс нужней держать поэтам —
Не лучше ль с неба звезд вначале нахватать?
И пусть луна блестит лишь отраженным светом,—
Ну что ж, и до нее ведь не рукой подать!

— Эй, ты, сияй сама! Поэту нет расчета
Жить отраженьями,— заметил критик мне.
Мой друг! Достаточно, что ты меня к луне,
Забывшись, приравнял — чего ж тебе еще-то?

Не надсаждай других — сам будешь пощажен.
Все скажут: «Не Сент-Бёв, но и не изверг он».

ПОДСОЛНУХ

Подсолнух еще не исчерпан!

Ироническое. Из критики

Подсолнух, собственно, неисчерпаем,
Как прочий мир. Порукой в том роенье
Пчел, чующих крыла прозрачным краем
Растительного космоса струенье.

Его — в сумбурах — четкое строенье.
И в нас, поэтах, с нашим пестрым паем,
Есть космос и закон. Хоть мы не знаем,
Какую мысль подскажет настроенье.

Подсолнечное семечко без блеска
Сейчас — вот словно тусклая железка
В тевтонской маске. Но, прозрев, тяжелый

Кольчужный лик яснеет... Встают сами
От сердцевины образы: венцами,
Кругами радиации веселой.

Дрожа, заклинать моря в котловинах,
Небо подпирать!

(Лучами блистает
Роса на листе,
Спеша, прорастает
Зерно в борозде.)

Привет сочинителям славным, чьи судьбы предивны!
Но колбасникам, тайным и явным, поэты противны —
Что в чужие встречаются печали, вопросы решают...
«Ах, вопросы нам жить не мешали: ответы — мешают!»

И скажут ребятам такие слова:

«Вы славу стяжали,
Вы небосвод
На слабых плечах держали,
Вы горы свернули,
В русло вернули
Волны грозных вод...»

Потом засмеются
И скажут потом:
«Так вымойте блюдце
За нашим котом!»

Когда потеряют значение слова и предметы,
На землю, для их обновленья, приходят поэты,
Их тоска над разгадкой скверных, проклятых

вопросов —
Это каторжный труд суеверных старинных матросов,
Спасających старую шхуну Земли.

* * *

Есть вопиющий быт, есть вещие примеры,
При всей их важности не лезущие в стих.
Закон стиха суров: он ставит нам барьеры
И говорит: «Скачи, но лишь от сих до сих».

Есть клады ценных слез, есть копи, есть пещеры
Алмазных вымыслов и фактов золотых,
Но муза не придаст им ни малейшей веры,
Пока отделки блеск не заиграл на них.

Как часто темная певца терзает сила!
Как песня бы его страданья облегчила!
Пой, торопись, Орфей! Твой дар тебя спасет!

Уж весь подземный сонм его за платье ловит...
Он может умереть, пока слова готовит!
Но не готовых слов он не произнесет.

* * *

Снег выпал ночью и растаял днем.
С ним улетел, задержанный на нем,
Взгляд мой рассеянный, —
Верхом на трепете
Истаиванья. Так на диком лебеде
Нильс некогда, наказанный школяр,
Летел, опередив дыханья жар,
За горы гор, в зимы холодный пар,
В гусиную Лапландию... Далеко
От грифеля и школьного урока.

Лишь сырости да свежести следы
Легли от снега — новый круг теней.
Трава еще не выпрямилась; белые
Станицы снега выпались на ней
И унеслись, предтечи зимних дней,
В Лапландию видений. Столь далекую,
Что в небе неба только сердце, ёкая,
Крылом затрепетало и зашло
От ужаса, что с ними унеслось!

Снег растворился воздухом блистающим
Над конским щавелем, склоненным ниц,
И взгляд мой улетел
со снегом тающим,
Как с дикими гусями —
мальчик Нильс.

Кок заметил: «Если встретил
домового ты, чудак,
То не разбалтывай про это никому!»
А рулевой про домового разболтал,
И это знак,
Что домовой не являлся ему.

Что не ходил к матросу в рубку,
Не курил на юте трубку,
Не мелькал в хитрой мгле за кормой...

Корабельный домовой,
Ах, подай нам голос твой!
Ау! Ау!
Ай-ай-ай!
Ой-ой-ой!

Загляни к матросу в рубку!
Закури на юте трубку!
Рукавичкой махни меховой!..

Волны пенные кипят,
И шпангоуты скрипят,
И у штурвала грустит рулевой.

* * *

Восток, прошедший чрез воображенье
Европы, — не Восток, а та страна,
Где зной сошел, как тяжесть раздраженья,
А сказочность втройне заострена.

Где краски света, музыки и сна,
Шипов смягченье, роз разоруженье,
Жасминовые головокруженья,
В ста отраженьях — комнат глубина.

Сто потолков огнем сапфиров движет.
Сонм арапчат по желтой анфиладе
Бежит — и в то же время на коврах,

Далеких, золотых, недвижимых, вышит...
А дым курильниц все мотает пряди —
Не вовсе с прялкой Запада порвав.

ЭКЗОТИКА

Певцам, я знаю, не годится
На гневных критиков сердиться.
Но ведь зоил, не помогая,
Лишь нагоняет маеты,
Между читателем сжигая
И бедным автором
Мосты...

 Меня корили огорченно
 (Но в огорченье — увлеченно)
 Экзотикой. Окаянство!
 Зоил единство растерзал:
 Вот заказал мне даль пространства,
 А даль времен — не заказал!

В чудесных вымыслах поэту
Мешая странствовать по свету —
Взлетать на Анды, плыть по Темзе,—
Он позволяет мне, друзья,
Быть историчною. Зачем же
Географичною — нельзя?

 Кто на «экзотику» озлобясь,
 От человека спрячет глобус,
 Лишь географию (от силы!)
 С историей разъединит;
 «Забудь, — он скажет, — Фермопилы».
 Но там сражался Леонид! ¹

О, как придирки эти странны,
Куражливы, непостоянны!
Уж мне их предъявили массу...

¹ Известный спартанский царь с тремястами воинов отстоявший от несметного войска Дария вход в ущелье Фермопил.

А ведь попробуй запрети
Скакать летучему Пегасу,
Да он зачахнет взаперти!
 Не грех ли, не попрание ль чести —
 Учить коня ходьбе на месте?
 Чтоб неменяющийся воздух
 Перетирал, как шестерня?
 В подобной роли и меня
 Вы, друг мой, видеть бы желали?
 Но наши вкусы не совпали;
 Мне больше нравится без шор
 Глядеть на весь земной простор.

Кого «экзотикой» и надо
Шпынять — да только не Синдбада!
И как в передничке за прялкой
Сидеть не станет мореход,
То не мечтай, что этот жалкий
Насест
Поэзия займет!

 Конечно, можно всю планету
 Исколесить, катясь по свету
 Как будто в бочках засмоленных!
 Притом — без дырочек для глаз.
 Но способ сей — для закаленных
 Паломников, а не для нас,

Людей, сугубо кабинетных.
Ах, нам для странствий кругосветных
Не требуется ничего.
Мечта наш парус надувает,
Сны — кормят нас и укрывают...
Ах, нам достаточно бывает
Воображенья одного.

 А значит, нам не разориться.
 Но то-то и зоил ярится,
 Ища: где тот бездонный кладезь,
 Тот бестоварный оборот,
 С которым можно жить, не тратясь?
 (Зоил и тратясь — не живет.)

Но мне теперь (из-за такого,
Как он!) начать придется снова.
Итак: века кружат в пространстве,
Пространство кружится — в веках.
Романтик может жить без странствий,
Но без мечты о них — никак!

Ты, *время* видящий без связи
С *пространством*, точно ось без смази,
Зои!л!
В огромных странах света
Вещей, могу тебе сказать,
Такая уймаища!
Уж две-то
Из них ты мог бы и связать!..

КОРАБЕЛЬНЫЙ РАЙ

(Сказка)

Пусть кораблям, погруженным на дно, сны о счастье
не снятся:
Тяжко им так, что и к Судному дню им теперь
не подняться!
Много моллюсков на нихросло, еще больше — печали.
Эй, не горюй! Уже то хорошо, что летели и мчали.

Пена с бушприта в четыре ручья кружевного стекала...
Как — в предрассветной свинцовости — кровь
фонаря иссякала
Грозно! Но козни такой на борту океан не запомнит,
Чтобы фрегат быть собой перестал до того, как
затонет.

Бледное облачко вдруг разрасталось, отстав от эмали
Штиля, — и призраки тьмы у матроса штурвал отымали...
Взрыв! Но ни страсти такой на борту, ни такого подвоха,
Чтоб галеон, до того как рассыплется, выглядел плохо.

Флинта и Моргана, впрок погружая их рожами в пену,
Море влекло и тащило; других выдвигало на сцену...
Кровью обрызганным грузом кромешные трюмы
набиты
Были. И жертвы напрасно просили у неба защиты.

В чем же романтика? Может быть, в том,
что чудовищных месив
Не осязали в себе бригаантины, лишь главное взвесив?
Как бы ни смачно ругался впотьмах и ни сплевывал кто-то,
Так же высоко неслошь очертанье высокого грота!

Есть у вещей Силуэт. Не должно в него лишнее
вкрасться.
Кто очертанье унизит, тому и другое удастся.
Кто-то их палубы зря попирал, кто-то смерть
их приблизил,
Но силуэтов летящих никто никогда не унизил.

Странные!
Бог весть кому потакавшие в темных затеях!
Так никогда и не знавшие тех, кто летел на хребте их,
Спят. Но остался их контур в сердцах до последнего
сгиба;
Мчащий, летящий на всех парусах! Непокорный.
Спасибо!

Вот мне и снится, что время придет, и хотя
затонули,
И, несмотря что, как нить золотую, не всю
дотянули,
Не дотянули, прервали они свою песню
о счастье —
Судного дня золотая труба их разбудит. Отчасти.

Призрачный ветер подымет, в темные щели задувши;
В рай корабельный взойдут кливера —
их бессмертные души,
А корпуса только глубже огрузнут, осядут и канут.
Вот уж тогда-то их старые раны болеть перестанут!

Эй, не горюй, старина, что непросто им с якоря
сняться!
Пусть кораблям, погруженным на дно,
сны о счастье не снятся;
Пусть хоть и много моллюсков на них,
хоть и много печали —
Жизнь их была уже тем весела,
Что летели и мчали...

* * *

Липа зацвела у перекрестка;
Ствол корявый,
а цветы ее легки.
Книзу, книзу катится повозка,
Воле послушны,
на рогах у них венки.

Солнце за деревьями склонялось,
Так казалось,
будто вовсе не зайдет!
Только
легкой дымкой заслонялось,
На завтра ясный
обещало небосвод.

Ветром не испуганный нисколько,
Лист жасмина
уловил зарницы дрожь;
Ночью
дождь накрапывал тихонько,—
На шум ненастья
не был шум его похож.

Утра полусонная прохлада,
Чуть порхая,
пересиливала зной,
Зная,
Что грозой считать не надо
Роптанье сада,—
запах свежести ночной.

Липа
Зацвела у перекрестка;
Ствол корявый,
А цветы ее легки.
Книзу,
Книзу катится повозка,
Волы послушны,
А дороги — далеки...

ПЕСНЬ О «ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ»

В прибрежных лугах и полях,
В синеющих сумерках летних
Лежит деревушка — в последних
Слипающихся огнях.

Там дети отходят ко сну.
В то время как бриг над пучиной
Летит, словно демон холстинный,
Крылом отсекает волну...

Уже в деревушке темно.
Но, слабнувшим отблескам вторя,
В ней теплятся лужицы моря
(В залог, что вернется оно).

А бриг повернулся
и вдруг
За шхуну рыбачьей погнался...
И крен — трепет нового галса —
Его исказил, как недуг.

За свалкой, где дети играли,
Песок бело-розов, как днем,
Но лужицы серой эмали
Горят демонически в нем.

А бриг удержался едва...
Сейчас его снова подбросит...
А ветер все шумы отнесит,
Лишь странной команды слова

В отдельной звучат тишине...
Мрак ночи порывист и душен.
Уж буря валит из отдушин
И люков, невидимых мне...
 Когда и откуда поднялся
 Тот ветер? От корня волос?
 От этого ль нового галса?
 Нет! Судно не ветер принес,

А самое судно
 Давно
Несло в себе ветер да бурю!
Недаром,
Лишь брови нахмурю —
И в море возникнет оно.

В КРАЮ СНЕГОВ

На белом небе снежные хребты —
Две белизны слились неразделимо.
Здесь только что был кто-то: вот следы —
Упряжка псов и нарты пилигрима.

Осыпанные хлопьями с высот,
Молниевидны, судорожны сосны,
А подо льдом — сокрытый мерный ход,
Тяжелый ход реки золотоносной.

Но слышно мне, как путается строй
Волн подноготных, звон сбивая в грудь
При застыванье, застреванье струй
Во льду, подвертывающемся всюду...

Что ж день так ясен, если так угрюм?
Ждет ночи зренье, раненное светом,
Но медлят сумерки, как тугодум,
Пешком пошедший в город за ответом.

Лишь наста зачарованный покров
Уже не так блестит неумолимо;
Чуть зеленее облако ветров,
Чуть легче след упряжки пилигрима...

На льдистой желтизне индейских гор
Дымится мира замысел первичный.
На рукавицах — странный цветохор:
Цвет аспидный, сиреневый, горчичный...

День гаснет. Безначальное вокруг
Молчанье, не сулящее открытий.
Царит пустыня снежная. И вдруг...
Своя же варежка! Расцветка нитей...

ЦЫГАНКА

Развеселые цыгане по Молдавии гуляли
И в одном селе богатом ворона коня украли.
А еще они украли молодую молдаванку:
Посадили на полянку, воспитали как цыганку.

Навсегда она пропала
Под тенью загара!
У нее в руках гитара,
Гитара,
Гитара!

Позабыла все, что было,
И не видит в том потери.

(Ах, вернись,
Вернись,
Вернись!

Ну, оглянись, по крайней мере!)
Мыла в речке босы ноги, в пыльный бубен
била звонко.

И однажды из берлоги утащила медвежонок,
Посадила на поляну, воспитала как цыгана;
Научила бить баклушки, красть игрушки
из кармана.

С той поры про маму, папу
Забыл медвежонок:
Прижимает к сердцу лапу
И просит деньжонок!

Держит шляпу вниз тульею...
Так живут одной семьею,
Как хорошие соседи,
Люди, кони и медведи.

По дороге позабыли: кто украл, а кто украден.
И одна попона пыли на коне и конокраде.
Никому из них не страшен никакой недуг,
ни хворость...

По ночам поют и пляшут, на костры бросая хворост.

А беглянка добрым людям

Проходим

Ворбжит:

Все, что было, все, что будет,

Расскажет,

Как может...

Что же с ней, беглянкой, было?

Что же с ней, цыганкой, будет?

Все, что было,— позабыла.

Все, что будет,— позабудет.

ПРЕДРАССУДКИ

О эти светские пустые предрассудки,
С унылой чопорностью ждущие от нас
(Для вящей светскости!) то грубой сальной шутки,
То откровенности, лишенной всех прикрас!

О вы, условности, и вы, ужимки света!
С какой-то ханжеской свирепостью уже
Грозящие не взять, так вырвать у поэта
Стишок про сеновал и Дуньку неглиже!

Свет, скорый на запрет, холодный, лицемерный,
Благопристойности и тона страж манерный!
Порвать бы цепь твою, пока твой Аргус спит,

Связаться, одичав, с Брезгливостью порочной
И право на отказ от Скважины Замочной
Украсть, как яблоко в садах у Гесперид!

* * *

В поэтах числиться и никогда заборным
Словцом не выругаться — сущая беда!
Клеймо на совести. Участье в деле черном.
Пятно, которому не смыться никогда.

Есть что-то пресное и штатское в отказе
Певца от крепких слов. Увы, но это так.
Держась пристойности, ты вроде как... слизняк!
Иуда! Бледный клерк! (Его комками грязи

За бледность гнусную всегда мальчишки бьют!)
Ты не гусар! Ты шпак! Зануда из зануд!
Ты сухопутная, прошу прощенья, крыса!

Взлет поэтический тебе не по плечу!
Да, знаю-знаю... Здесь моя погибель скрыта
Но... почему-то я ругаться не хочу.

КРЫСЫ

И — снова ночь без сна! Чердак над потолком
Все лето полон крыс! Бросающихся грозно
То в пляс, то в конский топ, то мчащих кувырком:
У них бурлящий писк и мерзко-виртуозно

Кудахчущая трель... Встаю, пока не поздно
И зной не сжег росу. По травке коlobком
Катался серый кот. Он не был мне знаком,
Но глянул так хитро, так весело-серьезно!

Полжизни позади, и дивам счет потерян.
Но не встречала я — могу заверить вас —
Столь заговорщицких, волшебнo-хитрых глаз!

Наслышан, зелен, храбр, добр, дик, самоуверен,
Мне взгляд кота сказал: «Я знаю тайный лаз
И тех... на чердаке... я извести намерен».

СТРАХ ЛЕСОВ

Я знаю дней текучих смену, —
Измены выбору — не знаю.
Я на растений пестрых пену
Нелюбопытный взор кидаю.
Чужих растений не задену,
Свои — меж тысяч угадаю,
Но лес мне страшен. Леса плену
Я вольность рощ предпочитаю.

Да, темен лес.
Верленов даже!
Лес даже галльский, даже южный...
Хоть и просвечивают пляжи
Там за грядой берез жемчужной, —
Пугаясь, вижу сквозь миражи
Листвы, соткавшей круг наружный:
Есть круг седьмой — мрачнее сажи —
Внутри системы семикружной!

В том круге умысел злодейский
Лежит у корневых подножий,
Предательский и лицедейский,
Угадываемый по дрожи
Руки! В том круге лес Содрейский
И Муромский — одно и то же,
Кто там ни сгиль: крючок судейский
Или купец широкорожий.

Сказала бы: степенность шума,
Поток живого малахита —
Хоть и гроза для толстосума,
Зато отшельникам защита...

Но там, где чаща так угрюмо
В мешок тоски своей зашита,
Одна и та же кружит дума
И для купца, и для пиита.

То мысль уныния и страха.
Здесь от насильственного бденья
Купца покинет дух размаха,
Певца — отрадное виденье;
Примнится нож, топор и плаха,
Интриг и бед хитросплетенье,
Судьба — слепая тонкопряха,
Святых отшельников паденье.

В том круге ведьминского блуда
И — в душлах — фосфорного жара
Прохожему не будет чуда,
Судьбы негаданного дара,
Ни посланного ниоткуда
Разбою встречного удара,
Ни благородства Робин Гуда,
Ни покаяний Кудеяра.

Там веет духом святотатства,
Кошмаров криком безголосым;
Там состязателей злорадство
Стяжателя оставит с носом.
Но и души людской богатства
Там пользуются тем же спросом;
Вон над душой идут ругаться
За предводителем безносим —

За тенью тень...
О нет! Не стоит
Корезить чащу без разбора;
Кто рушит лес — да не построит
И долговечного забора!
Да небо на плечах покоит
Земли священная опора.
Но... что ж так тонко сердце ноет,
Так заунывно в чаще бора?

В том круге, где, теряя зренье,
Своих деревьев лес не знает
И лишь другие измеренья
В родном кошмаре вспоминает;

Где духа никнут воспаренья,
Где корень странника пинает,
Где книгу вещего творенья,
Закрыв, никто не починает.

Да, темен лес...
В том (даже грубом!)
Забвенье; в да́ли плоскодонной,
В оцепенении сугубом;
Прямой, самозавороженный.
Где он не связан с троегубым
Бегущим зайцем, с вербой сонной,
С жасмином белым, с верным дубом,
С березою пеннорожденной!

Где мох — как плесень в идеале;
Все та же мерзость запустенья,
Но чьи охлопья в рай попали
Под видом честного растенья!
И вот — чисты, как на эмали.
(«Кабаллы» новое прочтенье!)
Но веют памятью печали
И беспокойством отвращенья.

Пушась, водой надувшись пресной,
Стоят на ножках мягкой позы.
Но нет на них черты небесной,
Нет чувства вынутой занозы!
С тоской гляжу на мох чудесный,
И холодно вскипают слезы,
Пока из заросли окрестной
Пеннорожденные березы
Ни хлынут — всей толпой — на сцену,
Как чайки, сбившиеся в стаю...
Нет! Хвойных пасмурную стену
Я кровью сердца не питаю;
Я прозреваю в них измену.
Измену без конца и краю!
Я их участью знаю цену.
Я рощи вязов выбираю!

МЕЛАНХОЛИЯ

Богопротивная, дрянная вещь — тоска!
Три вида есть у ней, самим грехом творимых:
Тоска нипочему. Тоска из пустяка.
Тоска по случаю причин непоправимых.

Тройная эта блажь особенно близка
Нам, людям севера. В умах неутомимых
Мы сотни смастерим себе терзаний мнимых,
Пока судьба и впрямь не стиснет нам бока.

Вот так, из ничего, мы с важностью умеем
Чудовищ созидать! Гордясь душевным змеем
(Таким тропическим, когда кругом зима!),

Его мы пестуем. Но нет в нас мысли ясной,
Что здесь мы — не одни; что и к другим в дома
Нет-нет и заползет наш баловень ужасный...

ПРОГУЛКА НА ЗАГОРЯНКУ

Предлинный тот мосток, должно быть, канул скоро,
Так низко он сидел! По всей его длине
Мы — словно по столу для чайного фарфора
Кувшинок! — шли гуськом, с водою наравне.

В тот день мы: брат, сестра да я (поближе к маме) —
Под знойным маревом верст пять прошли пешком...
А Лютик, фокстерьер, хоть был все время с нами,
Все двадцать отчесал! Внезапно (мех торчком!)

Чужак, завидуя звезде над каждым глазом
Красавца Лютика, в него вцепился разом.
Тот еле вырвался! От сердца отлегло...

Мы обувь за шнурки несем, домой шагая.
Смотри! Луна взошла! Блестящая какая!
Внизу еще не тьма, а уж вверху светло.

III

ГОСПИТАЛЬ

Окован стужей госпиталь военный,
Рассветный, сизый, мертвенный мороз
Нет-нет и звякнет утварью бесценной —
Пробиркой льда на пальчиках берез.

Березы снег рассматривают ранний,
Как бы ища пружину западни...

Медсестры, подбирающие раненых,
Не наклонялись ниже, чем они.

Они к земле промерзлой клонят ухо,
В безмолвии, как будто слыша гром
Войны, докатывающейся глухо
До их подкорня призрачным ядром.

Ядром подземным, прячущимся в норах
Кротовьих и полевкиных. В углах,
Уже не разорить ему которых,
Но где — щелчками — бьет по стенам страх.

Ядро летит к земле. Приткнется сбоку,
Родив зловещих полчища свищей,
Поискривив к неведомому сроку

Зверей костяк, рост листьев, ход вещей...

Вот так, остановиться где не зная,
Как бесконечным змеем шнур-запал,
По всей земле ползет волна взрывная...
Все спали. Спало все. Никто не спал.

Не спят березы: в поле, на развилке,
У водокачки клонятся... Видать,
Везде в снегах им чудятся носилки:
Еще чуть-чуть нагнуться — и поднять!..
 Рванет состав на горизонтах дальних,
 Простонет раненый,— болит рука...
 Не спят березы в рощах госпитальных.
 Не сплю и я же, дочь политрука.
То думаю о жизни бестолковой,
То утешаюсь: вот приедет мать
Пить чай у партизанки Стрижаковой,
Стихи о розе раненым читать...
 Не спят березы там, где лес и пашня:
 На рукаве их марлевым
 Вдали
 В каскадах искр, дыша тепло и влажно,
 Восходит солнце — Красный Крест земли.

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ

Темный вечер. Фабрика. Над нами —
Низко-низко! — самолет с крестами
Проскочил на бреющем. Прегрубо
Скребанув чуть не по крыше клуба.

Уловил мой взгляд (тогда беспечный),
Что сидел в кабине странный видом
Человек: с почти остроконечной
Головою в шлеме глянцеви́том.

Я, пригнувшись после громосвиста
Крыльев, обозначившихся мгlisto,
Взвешиваю ценные детали...
Вот! Теперь мы видели фашиста,
А другие дети — не видали!

Завтра утром
Перед целым светом
(В плане частном, детском и фабричном)
Будем мы рассказывать об этом
Приключенье нашем необычном!

Но... Кому расскажешь? На поселке
Всякий шкет теперь всерьез играет.
И снарядов бешеных осколки
На фабричной свалке собирает.

Всем видны огонь и в небе гонка.
Детства зря теперь никто не тратит!
За глаза — на каждого ребенка
По сто штук теперь фашистов хватит.

Это очень плохо и печально,
Что фашист устроил канонаду
Не для нас с сестрою персонально,
А для всех детей и взрослых кяду!

И встает законченно-округло
Жизнь в моих глазах...
И скукой веет...
И фашист — чудовищная кукла
Детского тщеславья — дешевет.

Никого теперь не удивишь им,
Никому за собственность не выдашь.
Скажешь: «Видела, рванул по крышам...»
Скажут: «И не то еще увидишь».

...Мы идем неспешными шагами.
За спиной Москва — там бьют зенитки.
Частыми, как дождь, прожекторами
Ночь высвечивает нас до нитки.

«Крестовик» давно опередил нас,
Из незримого прорвавшись ряда.
Страшное вперед перекатилось,—
Прятаться? Или уже не надо?

Мать, укутав маленького брата,
На руках несет его. Поодаль
Мы с сестрой... Болезненно-крылато,
Словно четверо святых по водам,

Как во сне (скорей своей трубою
Прореви ты нам, сигнал отбоя!),
Словно рой теней к своей пещере,
Мы скользим к убежищу на сквере.

Там, внутри, уже толпа большая:
Съежились на узеньких скамейках,
Малышей кричащих утешая,
Женщины в платках и телогрейках.

Впереди — как будто тень загиба,
Как в манящем лабиринте Тома...
«Ты туда заглянешь?» — «Нет, спасибо.
Я уж знаю все. Мне лучше дома».

Братец, бледный после встрясок разных,
Спит среди ночного беспорядка...
И в моих мечтах несообразных
Проступает старческая складка.

Рассказать бы перед целым светом
О богатстве Мавра,
Ирвингом воспетом,
О бесчестном Урии, о Скрудже!
Но о подземелье вот об этом
Где, кому расскажешь?!
Все мы — тут же.

Скука войн... И в сумраке гнетущем
Я задумываюсь о грядущем.
Да. Мы это все расскажем детям.
Только уж теперь другим, не этим!

Юного гапу в себе рапсода.
Говори, раз нет со сказкой сладу,
Про дела Синдбада Морехода,
Но другим — не самому Синдбаду!

ХОМА БРУТ

Как только подумаю о плачевной
Участи
Хомы Брута
(Не столь великого грешника,
Сколько наивного плута),
 Диву даюсь: а каким манером
 Вся та нечистая сила
 Христианина,— да в божьем храме!
 Как курицу, придушила?
Да как дозволить могли такое
Святых угодников лики?
Неужто храмовы стены слабее,
Чем петушины крики?
 Но низости не противустали
 Священные стены эти.
 Доколе мог, спасал издалёка
 Хому петух на рассвете.
Сказка и есть, уж понятно, сказка.
С нее и взятки гладки.
Вот и закатывай нам, Рассказчик,
Сказки, а не загадки!
 Да чем же это
 Божьему свету
 Отступники взор застлали,
 Что православного, и за молитвой,
 Еще и... врасплох застали?!
Смеялся или грустил Рассказчик,
Когда в освященном храме,
Святыми расписанном образами,
Пропал человек, как в яме?!
 Навряд Рассказчик и сам не заметил,
 Что страшный час неровный

Вершился
 Под любопытным взором
 Живописи церковной...

То-то и есть: это ты виною,
 Ты, адская Византия!
 Таких и грешников не бывает,
 Какие у ней «святые»:

Долгие лица, носы как спица...
 (Гляди, богомолец, в оба!)
 «Младенцы» — кажутся старичками,
 Которых скрючила злоба.

У «мучеников» из-под платьев ножки —
 Двойные черные жальца;
 Острее наконечника стрел ядовитых
 Их головы, с кончик пальца!

И, верно, не вверх «страстотерпцев» тянут
 Золото и самоцветы,
 А вниз, как положено...

Вот так «святые»!
 (Святая бедность, где ты?)

Ох, как подынешь глаза на эти
 Царские, цвета мясного,
 Ризы — уронишь голову долу
 И уж не вскинешь снова!

И — ни ответа тебе, ни привета
 От «ангелов». А улыбнутся —
 Углы улыбок усами гороха
 Так страшно вверх завернутся!

Ух, как заглянешь в эти очи,
 А в них — ни капли пощады!
 Глянешь на златокирпичных складок
 Рушащиеся фасады —

Не философия, скажешь, заела
 «философа»

Хому Брута,
 А живопись! (Хотя и красок
 Он в руки не брал как будто...)

Простой петух на жердочке шаткой,
 Да пощадит тебя повар!
 Церковной живописи и Вия
 Ты помнишь ли адский сговор?

Знаю, не станешь ты мне прекословить,
 Что только Византия
 Могла из церкви святой приготовить
 Дворец-резиденцию Вия!

Петух простой на жердочке тонкой,
Ты помнишь философа Брута?
Знаю, ты спас бы его, дружище,
Когда бы еще минута...
О, друг философа, крошка могучий,
Не спи!

Кричи!

Витийствуй!

Чтобы повыцвели хитрые краски
И чтоб уж никто не пропал по указке
(По молчаливой, но внятной подсказке!)
Стенописи византийской.

* * *

После тягости, сокрушения,
После Погока мрачных глаз,
После первого превозможения
Сна кошмарного в поздний час

Между звуков неясных вдруг
Разрастается внятный звук:

Над морями тумана бездонными,
Поглотившими шлюпку зари,
Высоко — со своими салонами,
Озаренными изнутри,

С тихой музыкою, в огнях,
С пассажирами в сонных ремнях —

Самолеты летят на Внуково,
Возвращаются на аэродром.
И не слышно опять ни звука вам
В тихом сумраке ночи сыром.

Но, предчувствуя, что вот-вот
Утро в даях белеть начнет,

Беззаботнее вы засыпаете.
И, уже искушенные в снах,
Свесив руку, лишь пальцы купаете
В их далеких и светлых волнах...

* * *

Мимозы вырастают из песка
Здесь, у границы Калахари мрачной.
Полету золотого волоска
Подобен их обвод полупрозрачный,

Сияющий с отлогости холмов.
И странно в этой области горячей,
Обваренной дыханьем капских львов,
Так странно видеть этот пух цыплячий!

Цветок трэк-буров — корм для их коней,
Когда пространства
Лишь томят обманом
И пастбищ нет. И корма нет тучней,
Чем этот шарик, верный теплым странам.

А пылкий дух мятется, одинок,
И бредит освоением желтых далей...
Так, слыша дробный топот антилоп,
Простые овцы рвутся из краалей.

* * *

Волны бегут,
белый песок лаская,
Клочья травы
всюду с собой таская,
А в глубине
тихо лежит морская —
Очень большая, странно большая! —
Раковина.
Виду ее
В солнечную погоду;
Виду: прилив над ней подымает
синюю воду
И в глубине (ах, глубина какая!)
Великанья раковина,
Как росинка маковая,
Кажется мала.

То пропадет,
то под водой проглянет...
Море сожмет,
Море ее растянет...
Но все равно
ближе она не станет:
Как далека в небе звезда —
Так и она.
Виду ее
В пасмурную погоду;
Виду: отлив над ней завивает
Темную воду...
Кто мне ее, ах, кто мне ее
Достанет?
Водолазил водолаз —
Водолазу не далась!
Чья тут вина?

ТЯСОГУЗКА

Поистине, я знаю, трясогузка,
Была бы до суровости серьезна
Твоя из черно-белых нитей блузка,
Не будь ты так резва и грациозна!

На что тебе и красок перегрузка?
Лишь перышком да тушью скрупулезно
Рисованная, реешь... И — бесхозна,
Свободна по песку твоя притруска.

Ты вся — рисунок на этрусской вазе! —
Составленная с тактом безупречным
Из быстрых линий, точных, словно токи,

Порхающая по кустам приречным,
Не знающая ни пылинки грязи —
Знак высшей пробы серебра протоки.

* * *

Глухой зимы коснеющий триумф.
Подобнокладам, реки на замке.
Вдали снегов извозчичий треух
Простер крыла, как муха в молоке.

Сжимает стужа влагу в кулаке.
Прольет ли ее, пальцами тряхнув,
Весной далекой? Ворон на суке
Молчит, ни слова,— точит серый клюв.

Внутри зимы, в пустых ее сенях,
Я, ворон да извозчик на санях —
Три тени на серебряной стене.

Но от саней давно простыл и след,
А ворон так по-летнему одет,
Что (будь он проклят!) холодно и мне.

Мадонна! Призрей хиппиота! Скажи ему, как ему быть:
Как честную бедность поэта с тугим кошельком
совместить?
Ты что ж, брат? — и гульдены множишь,
и нищенство любо тебе?
Захочешь быть бедным — не сможешь. Загинешь
в бесплодной борьбе.

Есть хиппи. А есть хиппиоты. Влюбленные в нищенский
стяг,
Ненужных им стран патриоты, сидячие слуги бродяг...
Я знаю, что можно не видя любить и невидимым жить.
Но можно ли, в комнатах сидя, бродяжьему флагу
служить?

Я знаю, что можно и это: у скальдов дорога — в груди,
Условно пространство поэта, а свет — все равно впереди.
Но можно ли, жмурясь коварно, за деток обкуренных
пить?
Шептать, что спасенье вульгарно, и жизнью сей взгляд
не купить?!

Сидеть хоть на малом приколе (на краешке стула хотя б)
И славить — в неведомом поле последний бродяжкин ухаб
И пот ледяной?! Поелику (питомцам контор страховых)
Их гибель нужна вам для шику, для вставки
в тираду и стих!

Чудовищные хиппиоты! Романтики с наглым брюшком!
Их краски, их вирши, их ноты — в согласии с их
кошельком.
Но смерти щемающая флейта все манит их в серости
дней.
Чьей смерти? Своей или чьей-то? Тьфу, пропасть!
Опять не своей!

Им нравятся травы, канавы, гитары, порывы дождя
И чувство, что юноши правы, от общества в ночь уходя...
И Сартром взмахнет грациозно, и мешкающих
подтолкнет...
Но в то, что для хиппи серьезно, не верит крепых
хиппиот.

Есть хиппи, а есть хиппиоты. И хиппи (как в небе
стрижи,
Земной убегая заботы) не верят ни правде, ни лжи.

Цель хиппи нельзя обозначить. Цель хиппи — концы отдавать.

А цель хиппиота? Подначить. Оплакать. Романтизировать.

Прекрасная марихуана! Как сказки твои хороши!
Дай неба нам! Дай океана! От темной земли отрешись!
Судьба — нападательный минус... Оскоми́на жизни

Печальный курильщик! Возьми нас, прими нас в твои
горька...
облака!

В твоих-то хоромах уютней! Мы будем довольны
судьбой!

Как крысы за гамельнской лютней, мы ринемся вслед
за тобой!

Но хиппи, наследник печали, растаял в кипящем дыму,
И зрители сразу отстали, которые льнули к нему.

Подначка — великое дело! Прекрасная вещь — западня!
Воспеть же! (Отпеть же!) И смело вернуться
к насущности дня.

Но вскорости ж — новые траты... И снова увязывать вам
Искусственные заплаты с естественной тягой к деньгам.

Так хиппи, лишась интересов, несут на загривке, под
блюз,

Своих неотвязчивых бесов дубленый и замшевый груз.

· Мостами, лесами проносят на ниточках тоненьких шей,

Не чуя, как несут, где сбросят непрошенный тучный
трофей.

Готовый к любым присосаться системам, филистер живет
Банальный. Не все согласятся, что имя ему — хиппиот.

Трудней, чем зарубки на сучьях, давать хитрецам имена:
Их лики меняются. Сущность их — та же во все времена.

Буржуйство! Тебе не впервые

Кататься у нищих на вые!

На сотнях мостов, поворотов (Америка, Лондон,
Мадрид) —

Глянь: хиппи несут хиппиотов. Кто смотрит — всегда
разглядит.

ЖОРЖ САНД

Они усы и бороды носили,
Гремящий трагик, романист, поэт...
Но в общем парни — женщинами были;
Ведь женственной души французской — нет!

Весь мир беспечностью они пленили,
Изяществом очаровали свет
И с томной красотой соединили
Девичьей грусти ливневый расцвет.

Одна вспылит, другая прослезится...
Та — ворковать, та — с перстнями возиться,
Подымет эта ближнего на смех...

Учтив, спокоен, храбр, великодушен,
Не столь плаксив, не всем ветрам послушен,
Один Жорж Санд — мужчина среди всех.

СТАРИННЫЙ БРОДЯГА

В мороз и зной
 в юдоли земной
Вижу я ночью свет без огня.
Свой дом и очаг
 у каждого есть,
Но нет его у меня.

У птицы есть, у ящериц есть,
Есть у крота, у всех, кто живет,
И только меня на празднество дня
Никто не ждет, не зовет.

Проскачет всадник, следом другой,
Но я ничего у них не прошу,
Я только спою: «Дорога — мой дом»,—
И дальше

 в путь
 ухожу...

Люблю я солнца первый восход,
Люблю я погоду, если тиха,
Гнездо жаворонка в желтых полях,
Костер,
 костер пастуха.

Люблю я даль с гуртами овец
И над очагами тающий дым,
Боярышника

 багряный венец
И месяц ранний над ним.

В мороз и зной
 в юдоли земной
Вижу я ночью свет без огня...
Очаг свой родной
 у каждого есть,
Но нет его у меня.

ОСЕННИЙ ЭТЮДНИК

Дым в тумане. Долгому овину
Ночь подобна. Северным кальяном
Окурило лес и котловину.
Но рассвет снимает мешковину
С красных куп. И роща над туманом
Проступает каждый раз иная,
Чем вчера была еще под вечер,
Тщетно в полутьме припоминая
О своем вчерашнем цвете.

Ночь — художник, пишущий пейзажи,
Прячет их от публики и сглазу;
Тряпкой их накрыв, стоит на страже,
Звездам не показывает даже!
Только утру все откроет сразу.
Мы тогда увидим: ночью снова
Изменилось многое в картине;
Эта груша не была вишнево-
канареечной, как ныне!

Ранним-рано шла я росным долом.
Солнце чуть мерцало из-под сонных
Век своих, скользя над полем голым,
Где вчера был срезан весь подсолнух.
А в лощинах, инеем подсоленных,
Где, подобно желтым фарандолам,
Шла, кружа, ореховая охра,—
Там, как новый, в красочном ударе,
Раскаленно-красный
Клен на сизой хмари
Отпечатывался мокро.

ЗАЛОГИ ПЕЙЗАЖЕЙ

Вот я — зевака пейзажей! Порой
восторженный, чаще — дремотный...
Пишет ли ночь маслянистою сажей
свой лик за дымкою плотной,
Утро ль растет из озерной волны и слепит,
как цветы нениюффары,—
Я тут как тут. Ведь пейзаж без зеваки
похож на ботинок без пары.

Да. Я зевака пейзажей. Но я же
непрошенный их перекройщик;
С частым, как зуд, мелкоколесием спорщик,
разболтанных струй перестройщик...
В ритме стиха (своего, не чужого!) не зря
по ручьям и карьерам
Я, как портной со своим метром,
шла со своим размером.

Аллея Диккенса помнит меня
корнями своих растений,
Буколики, и Котловина Рипа,
и Мост Предвечерних теней
Скрипучий... А я их помню — вдвойне:
такими, какие на деле,
И в тех одеждах, которыми их
мои мечты одели.

Так я, зевака пейзажей, брела
по их старинной дороге.
Но не пейзажи меня облепляли,
а их черты и залог;

Всегда с полдюжины мне не хватало
дубов и ясеней стройных...
Был мох — но не было скал зеркальных,
этого мха достойных!

Жила вода в берегах невысоких,
но не было водопада.
Сначала не было, а теперь... может быть,
уж и не надо?
Дорога в город. Ведь я уезжаю!
Прощайте, мой пейзажи!
И грех прозябанья без мельницы в далих
я вам отпускаю даже!

Они
еще какое-то время
за мной поспешно хромают,
Но останавливаются поневоле
и новый вид принимают;
Уже смягчает их очертанья
прозрачный
закатно-ранний
(Но звезды всходят — и он густеет)
туман воспоминаний.

В МАРТЕ

Будь я художником, я набросала бы
Пустую улицу
Большого города.

Хвост квартала опустел.
А на темени его
Только я, и — никого!
(Миг безлюдия лови —
Этот миг неповторим!)

Над тротуарами сумерки ранние,
Льдистые, снежные. Все еще холодно.
Сломлен только что февраль,
Впереди синее март.
Страх отступится вот-вот —
Отойдет тревога прочь.

Но, как во сне беспокойном, огромное
Стороны света имеют значение;
Я — на южной стороне!
И афиша на стене
Одинокая: «Джейн Эйр».

Как еще долго стена над афишею
Длится пустынная! Как высоко еще!
Не стояла ли Джейн Эйр
На равнине дней своих
Столь же голой и пустой?

Часто ходила я здесь, но не видела
Этого дома с оранжевым выступом
Вертикальная стена
Так чиста и высока!
И афиша в уголке —
Как батистовый платок,
Что сронила, побежав
По равнине жизни, Джейн
Эйр...

ДОБРЯК

«Тебе-то хорошо!» — мы говорим тому,
Кто нам добра желал, нас от унынья спаси.
С чего ж бы это так уж «хорошо» ему?
Эй, гляньте на него как следует сейчас же!

Худ, бледен, всех слабей. В довременном дыму
Седин... Но силится весельем взгляд угасший
Снабдить (как тот камин в заброшенном дому) —
Чтоб нас же ободрить, чтоб не расстроить нас же.

Реальных благ при нем хранящийся запас
Иль вовсе никакой, иль меньше, чем у нас.
Так чем же он от нас завидно так и крупно
Отличен? Добротой? Но, сказка доброты,
Страна, далекая как солнце! — ведь и ты
В недостижимости своей — общедоступна.

* * *

Дерево, и камень, и железо
Перед ливнем пахнут первозданно.
Вижу издали: малютки лодки лезут
На зеленый купол океана.

С океаном в кошки-мышки
рыбаки играют,
Но едва сверкнет крылом
предвестник бури
Дерзкий альбатрос — и лодки удирают
Вслед за клочьями испуганной лазури.

А на берегу рыбачки тихо напевают —
Пробуют зачаровать ненастье.
И к рыбацким курткам грубым
тайно пришивают
Рыбьи позвонки
и крестики на счастье.

И поют рыбачки: «Тихо ветер веет,
Но равнину водную не взроет;
Пусть домчатся наши лодки
к берегу успеют
До того, как туча их накроет.

Пусть в лазури мягкоперой блещет
солнце юга,
Долго не уходит с небосвода!
Пусть Морской Конек проскачет сто четыре круга
Перед бурей, до ее прихода!»

ЗОЛОТО ПРОЕКТОВ

(Поэма)

Румяный критик мой!..

А. Пушкин

1

Как строги вы со мной!
Мой стих зовете праздным,
Эгоистическим, оторванным от дел...
Тот мир похоронить горите вы соблазном,
Что и родиться-то, быть может, не успел!

Да, много лет прошло и строчек отмелькало.

Но мало прожито, но высказано мало,

А страшно между тем

И вспомнить мне о том, какие тьмы предметов

Мной не осилены! — идей, картин, сюжетов,

Забытых вымыслов, невоплощенных тем...

Врата в художество захлопнуть предо мною

Вам так хотелось бы... О, беспощадный вкус!

Я слова доброго, быть может, и не стою,

Но ведь и вы — не страж у входа в царство муз!

Ваш суд — не Страшный суд. Не Судный день. Иначе
Уж ни одной бы мне не выполнить задачи,

А я еще должна

Сто мрачных тайн раскрыть,

Сто зерен в землю бросить,

Перед невзгодами не опростоволосеть

И вспомнить ста вещей простые имена.

Так... Слишком томного и нежного стиха,
Дружище, берегись, беги его заразы!
Но сахарные нас порой прельщают фразы,
Какая ни сиди в них ложь и чепуха.

Не легче и тогда, когда в железе строчек,
В которых волею себя явил талант,
Лежит не тающего сахара кусочек.
Железо в сахаре — не лучший вариант.

И вот уж два звонка вещают о проказе:
Засахаренный трос и мед в железной фразе.
Но одинаково опасность их люта!
О сладкоречие! Ты — верная примета
Жестокой лакомки, но только не поэта:
Поэт всегда суров, и речь его проста.

А все сомнения я тем верней рассею,
Чем лучший приведу из древности пример:
Ведь пение сирен казалось Одиссею
Волшебной музыкой, нам говорит Гомер.

Остаться ли в когтях (какой соблазн громадный!)
У сладкозвучия Сирены плотоядной?
Иль выбрать наконец
Нормальный, честный стих меж «сладостным»
и жестким?
Чтоб уши залеплять не приходилось воском
И к мачте не вязать себя, как тот пловец,

Своей лишь хитростью спасенный, Одиссей,
Канатом скрученный, но рвущийся к сиренам,
Да так, что весь корабль грозил жестоким креном
И погрузиться мог на дно с командой всей.

3

...Ступай вперед, мой стих!
Не обольщайся мнимой
Законченностью дел! Еще ведь ни о чем
Не зайкнулась я. К примеру — о ранимой
И нежно-мнительной фигуре с кирпичом.
О слабонервности; о прямо голубиной
Многочувствительности молодца с дубиной!
Ты на него дыши
Сквозь паклю! А не то удар страдальца хватит!

А ежели сам кого сплеча дубиной хватит,
То... лишь по редкому изяществу души.
Как много редкого на свете! И как мало
Обыкновенного! Глядеть так прямо страх...
(Ты помнишь, как в глазах у нас уже мелькало
От уникального? Как путалось в ногах
Неповторимое? Притом, что нам с тобою
От исключительного не было отбою!

Валили, взяв разгон,
К нам то единственные в роде, то из ряда
Вон выходящие... Из ряда ль?

Молвить надо,

Что — так же! — из дому пришлось их выгнать вон,
Проворовавшихся... Но се — опять идут!

На всех небесный знак, «и все — на наш редут»!)

О сомненья губительный маночек!

Свиненок с крыльями... Звезда во лбу козла...

Избранничество есть заскок не одиночек,

А необъятных толп несметного числа!

В какой козявке не сидит наполеончик?!

Какого слизняка следок — не полигончик

Властолюбивых нужд

И титанически плохих поползновений?

Кто не владыка сфер?

Какой дурак не гений?

Который лавочник бонапартизма чужд?

Где *просто человек*?

Какой пошляк — не демон?

Глянь: солнцеравные уж сыплют, как ячмень!

Должно быть, этот мир не из молекул сделан,

А из заносчивостей всех кому не лень...

На равенство ни в жизнь дурак не согласится!

Сам хочет быть «как все», сам — на Олимп косится:

— Что, дядя, *все* уж там? —

— Не все, — сказал Финдлей.

Представь-ка лучше, брат, что в горнем царстве неком

Жил... Кто? Да хоть портной. Был... Кем?

Да ЧЕ-ЛЮ-ВЕ-КОМ!

Вот честь блаженнее, чем состоянье фэй!

Да-с. Только редкое нормально.

Лишь нормальность

По-настоящему редка на свете сем.

Давай же редкостность, особость, уникальность

Обычной логики — до звезд превознесем!

Хвала ей! Слава ей, венца венцов достойной!
Способной в хаосе родить порядок стройный.

Увечных исцелить.

Вернуть помешанным пятерку чувств реальных,
Не дать им очуметь в безумствах «гениальных»,
Что непохвально есть — того не похвалить,
Изобретательную хищность никогда
Не путать с навыками тонкого труда,
А сон сомлевших змей — с лентою неуклюжей;
Есть твари, чей досуг землетрясения хуже,
В чьей грозной праздности — смерчей припляс
досужий,

Чей труд — досужий труд
Великих происков:
От чьей сокрытой хватки
На сушу мечутся из волн киты касатки,
Хлеб в поле не растет, кроты и птицы мрут...

О Клио! Дай мне мощь и Несторов терпенье!
Дай, Полигимния, мне силу песнопенья,
Чтоб родственную связь
Меж бомбой новенькою, вылупленной спело,
И самомнением я выявить успела,
Пока беспомощная жизнь не пресеклась!

4

...Вперед, стих бедный мой!
Дел впереди — громада!
Их враз не своротить, так хоть пометить надо
И с меньшего начать. Есть вех предлинный ряд,
Столь маленьких на вид, что глазом безоружным
Не всяк их разглядит, не всяк причислит к нужным.
Но мы на этот счет иной имеем взгляд!

Вот рифмы: кажется, бездумны, озорны...
(«Филантропический» — скажу, когда придется,
«Филон тропический» — мне рифма отзовется,
Увяжет «Розвальни» и «Розовый волны».)

Но рифмы — крылья слов. Слова же — крылья
действий.

Тот предал Действие со всей Подлунной вместе,
Кто форму силится низвесть

К идее пустоты, к бесплодным арабескам!
Кто слова пренебрег изяществом и блеском,
Попрал гармонию и рад, что хаос есть!

Он мастерство чернит. Он сделал это слово
Лихим извозчичьим ругательством. Что «кнут»,
Что «мастер» — он смешал! (Упрутся ль бестолково,
Но крикнешь: «Мастерство!» — и лошади пойдут!)

Ну, так заметь себе, зоил неугомонный,
Гонитель мастерства, его заклятый враг,
Что МАСТЕР — это тот, кто труд вершит законный,
Кто ничего не может делать кое-как!

Рассветами искусств, их яркими утрами —
Да помнишь ли ты, кто считался мастерами?

Сам Брейгель! Босх! Ван Рейн!

Сам Лейденский Лука!

А ты, и днесь на них рискуя свысока
Взирать (а заодно и наш оброк унизить),
Ты к стану мастеров решил теперь приблизить...
Меня?! Смирнейшего их ученика?!

Я не заслуживаю этого пока.

Опомнись! Отрекись! Прошу тебя серьезно:

Возьми свои слова назад, пока не поздно!

Но поздно. Ты уже и сам наверняка

Рыдал о них в тиши ночей... Что делать: «слово

Не воробей», сказал — отрезал. Стоп — готово.

Ну что ж, мой друг... Боюсь,

Пока раскаянью вы преданы всецело,

Пока вы думаете, как поправить дело,

Я к тайнам мастерства действительно пробьюсь!

Как марсианину землян ракетодромы,

Доходчивости мне откроются приемы.

Я слово обрету, которое Кашей

Хранит в семи ларцах и взглядом их буровит.

Как всадник на скаку, склоняясь, шапку ловит,

Я рифму выхвачу из хаоса вещей!

(О Рифма!

Не забыть, как в неразумны лета,

Всю крайность мнения пустить желая в ход,

Неверный толк об ней я обронила где-то,

И совесть мне с тех пор покоя не дает...

Увы! Простишь ли мне теперь, дочь нимфы Эхо?
В тебе мне виделась не помощь, а помеха;
Претила мне игра
Свободной, словно вздох, и своенравной Рифмы.
Как я забыть могла, что дочь вольной нимфы,
Которой родина — лесистая гора
Да пенистый поток в ущелье, нимфа тоже?!
Что и не в руку ей подчас бывает сон?
Что обходиться с ней, во всяком разе, строже,
Чем с дерзким образом иль ритмом,— не резон?!
В кругу полубогов есть боги-квартироны,—
Парнас для них слегка не дописал законы...
Проста или сложна,
Да будет рифма вновь такой, какой придется!
Одна лишь просьба к ней: пусть РИФМОЙ остается.
Дочь Эхо, но не дочь анархии она!)

5

Вперед, мой стих, вперед!
Гляди, как много надо
Осилить, наверстать упущенного мной!
Вот кто-то хмурит лоб, что я искусствам рада,
А я их обхожу — так часто! — стороной.

О да! Я честно к ним приблизиться стараюсь,
Но не приблизилась. Я только собираюсь
Создать, но я не создала
Всего, за что зои́л мою лягает школу;
К народу статуй (к той, подобной «Дискоболу»)
И подступиться я покуда не смогла!
И надписи своей к ней не подобрала.

Так чем же я опять натуру оскорбила?
Ведь я шагов своих поднесь не торопила
Туда, где рой богов глядит в лесной поток,
Где «урну с водой уронив,
об утес ее дева разбила.
Дева печальна сидит, праздный держа черепок...».

Век выиграет! Век не пропадет, нацеля
Космический полет к «Мадонне» Рафаэля!
Но долетит ли? О! Досмотрит ли в упор?
«Чудо! — не сякнет вода, изливаясь из урны
разбитой».

...И что ж? Ни храма, ни картины знаменитой
(Придира, слушай-ка!), ни статуи забытой
Я не воспела до сих пор...

Поэты Фермопил, певцы горящей Трои,—
Заметь: художники и есть мои герои!
Но слишком я ленюсь, не посвятив пока
В герои детищ их: кумир, поэму, вазу...
Хотя влиянье их кончается не сразу,
Как только мастера их вылепит рука!

И, кстати ж, повтори знакомым праздным шельмам,
Что мастерство не стыд, а честь и благодать,
Поскольку мейстером (уж не скажу — Вильгельмом,
А просто — *мейстером*) не всяк сумеет стать.
Но где там! Стоит лишь назвать одно из славных
(Как бы то ни было — с другими равноправных!)
Имен: не худших, чем брандмейстера, врача,
Бухгалтера (вполне в миру произносимых
Людьми порядочными в общем-то носимых!),
Лишь стоит снобу их напомнить стгоряча —
Тот как ошпаренный подскочит, крикнет, скажет:
«Не трожь музейну пыль! Я к ней приставлен сам!» —
И память гениев чудесных... с пылью свяжет!
Придет же в голову музейным сторожам!

6

Втолкуйте мне: зачем пытаются зоилы
О вечном рассуждать на языке могилы?
Зачем художнику (в умах своих кривых
Старинную держа на мастера обиду)
Спешат отвести музей, гробницу, пирамиду —
Что хочешь, — только бы не *жизнь среди живых?*
Они как дети! По открытости роптанья,
По неумению желанья скрывать...
Их странность — личные заветные мечтанья
За нужды общества, надувшись, выдавать.
Мечтанья же у них вполне в вандальском стиле:
Де «Мастер был неплох, но он давно в могиле.
Пускай! Чего ж теперь и вспоминать о нем?».
Вот греховодники! Да где ж тогда вы сами?
В какой решительной и распоследней яме
Из ям?! Уже сейчас — фактически живьем?!

Кто хочет видеть мир сухим, бесплодным полем,
Пустыней выжженной, тому, знать, свет не мил...
Но мы художникам исчезнуть не позволим:
Тут нас не спугают ни варвар, ни зоил!

Что вся поэзия? Что все ее победы,
Когда бы Пушкина одни пушкиноведы
Вслух называть могли?!

«Не трожь музейну пыль!» — кричит ночная

птица...

Кыш, братец, не шуми: музей суть не гробница,
Но суть сокровищница памяти земли.

Молчи! *Художники и есть мои герои.*

Поскольку, сверх всего, их знают шахт забои,

Леса под куполом, удушливый карьер

Жестоких мраморов; недуг на разработках...

Поскольку их, как всех (но шибче!), мечет в лодках,

Бьет в кровь... На зубья скал несет во весь карьер...

Но беспощадна бездарь к ним и век готова

(Пришельцев чувствуя божественную статью)

Считать их вечными... В буквальном смысле слова!

А в переносном — не считать.

Бессмертным ничего не делается, дескать.

Их притязания их вывезут; их детскость

Неуязвима; хоть по змеям босиком!

Кто сам из саламандр, тот жара не боится;

Уж если ты и впрямь широт кипучих птица,

Изволь, брат, выдержать крещение кипятком!

Об этом обо всем (столь «книжном» для чудовищ

Невежества, для всех, кто темен искони),

О людях, «книжностью» клейменных, (ах! за то лишь,

Что авторы они;

За то, что книги их бессмертны! Это плохо?),

Об исстрадавшихся, пытавшихся до вздоха

Последнего творить,

Работать: каторжниках чести беспримерных

Неумирающей мечты рабах галерных,

Идеала слугах верных,

(Не последних, может быть),

О вольно дышащих, живых, дееподвижных,

Смерть презирающих, с бесстрашьем чистых душ,—

О Муза! дай мне песнь сложить о Людях Книжных.

Пообещай помочь и слова не нарушь.

Мой стих! При виде нас опять зоил в печали;
 Он нам не разрешал шагать таким путем...
 Но как бы он ни ждал, чтоб мы с тобой пропали,
 Мы *даже для него* на это не пойдём.

Я в «книжности» вчера считалась виновата,

А нынче говорят, что я «витиевата».

В чем завтра провинюсь?

А послезавтра — в чем?

В музеях отведа закут большим поэтам,
 Музей же, в свой черед, считая кабинетом
 Мадам Мари Тюссо для восковых фигур,
 В больной фантазии, как в камере-обскуре,
 Сноб держит гениев: спасает их от бури
 Восторгов (и моих), мол, пылких чересчур!

Но даже если я другой стезей пойду

И сельский вид почну писать невинный; грабли,

В лазури ласточку да яблоню в саду —

Уж по следам молва: я живописцев граблю!

Не покупаю, дескать, краски, а краду!

Бегу ль за горизонт, подальше от навета,

Писать утесы, юг, иные страны света —

Кричат: «Экзотика!», «Оторванность!»,

«Побег!»...

Бросаю краски: мысль пишу как таковую.

А вывод? Схемой-де убила жизнь живую!

Какой, мол, дьявольски жестокий человек!

Тут я к читателю кидаюсь: он рассудит!

Ан критик уж мою уловку предварил:

— Толпа,— прокаркал он,— потворствовать

не будет

Певцу, которого я сам приговорил.

Стишки прелестные у вас, как запах примул,

Но площадной народ навряд бы их воспринял...

Я сам взял на себя... гм... благородный риск

До публики донести: тут налицо изыск!

О справедливейший! Правдивейший!

Была ли

Мне строчка, чтобы в ней — днем факелы пылали?

Видал ли ты резьбой изъеденную дверь

Иль фартук золотой с картинкой на эмали

В моем хозяйстве, плут? Ни прежде, ни теперь.

Ты, что не стоишь слов, но застишь мне зарю?
Ты, нечто смутное, размытое, но злое...
Прочь! Ты мешаешь мне! Изыди вон из слоя,
Где я хочу творить! (И, может быть, творю.)
Да, я скачков твоих пугаюсь суеверно,
Но вижу, чувствую, сколь глупо ты безмерно,
И снова я смеюсь!

В моей чернильнице не сякнет кровь драконья...
Я песнями твое унижу беззаконье!

Ты не меняешься? — так я ли изменяюсь?
И радость жизни мне протягивает руку.
Пусть незаслуженно, пусть, как всегда,
не впрок...

Но, Девяти Сестер шаги узнав по звуку,
Я успеваю встать, поклясться, дать зарок,
Вздохнуть, семь песен спеть... И все — одной
минутой.

Так, стиснутый кругом скорлупкою-каютой,
Бедняк матрос простой

Скарб немудреный свой тем расторопней сложит,
Что тесно, что темно, что тоньше быть не может,
Чем стенка между ним и моря чернотой...

8

...Успеть бы мне воспеть все волны бездны той
И этой! — сень лесов с их страхом безотчетным,
С волненьем зелени, с оцепененьем жаб,
С трясушкой осин... (Стань дерево животным —
Осина нежная медузой плыть могла б!)

Воспеть бы лес другой, теплом завороченный,
Где дикий виноград (как пламень отраженный
Водой дрожащею) разносит пурпур свой
По букам и дубам, среди лощин и впадин...
И снова — море, где мгновений так нагляден
Величественный счет! Где в скалы бьет прибой...
О, стоит проследить полет осенних нитей!

Холодную на них

Росинку, полную зеркально-ртутной прыти,
И складку духоты в завесах дождевых.
Все измененья дня! Все превращенья света —
Едва заметно — в тень, накопленную где-то;
Бузинной зелени вечерний синий чад,
Дрожь молний... Ночь, когда от северных растений

Вдруг исполинские тропические тени
Пряжками мягкими за край земли промчат...
Как выразился бы художник на этюдах,
Мне надо свет ловить;
Незримый звездный пласт напарить в темных
рудах,
В правах заброшенных пустырь восстановить,
Пейзажи разомкнуть с их тайной новизною!
Пейзаж — не просто вид с березой да копною,
Взглянули, умилась, и очи отвели;
Пейзаж — сигнал для всей планеты экипажа,
Что жизни на земле не будет без пейзажа!
Речь, вопиющая к художникам земли:
Прозрей!
Разуй глаза на этот мир прекрасный!
Держи свой глаз босым и в стужу и весной;
Небось художник ты? Зачем тебе, злосчастный,
Заказы отбивать у лавки обувной,
Ботинками для глаз снабжая шар земной?

Прозрей!
Прислушайся к шуршанью, пенью, свисту...
Ты слышишь? — вся земля взывает к Пейзажисту;
Пусть варвар корчится под кистью твоей!
Ты руку с топором перехватить не можешь,
Но ты сторонников себе горячих множишь:
Сперва хоть махоньких, а там — богатырей!
Защитник свежести земли! Скорей! Скорей!
Воспой пиповника растительные зори,
Синицу, листопад, под стрехой снег живой...
Ах, мысль, беспечная, как дождь, идущий
в море,

И та — пользительнее хватки бытовой,
Личину важных дел носящей...
Беззаботный

Оруженосец роз, романтик старомодный,
Рип незадачливый, проспавший двадцать лет,
Бедняк, в горниле бед напавший на беспечность;
Простак, приметивший сквозь дырки быта
вечность, —

Он-то и есть — поэт!
Всяк сон его — ценней действительности плута,
Раз Диогенов свет горит в его душе!
А коли так, то знай, что каждая минута
Лет, им упущенных, оправдана уже.

Я с детства помню фильм веселый (довоенный):
С экрана пел певец, счастливец вдохновенный:
«Я хочу медленно, медленно жить!»
Бесценные слова! Но, хоть горел над ними —
«Спешите медленно!» — девиз, рожденный в Риме,
Мне надо — медленно — но все-таки спешить.

9

Итак, когда бочаг я разыщу, в котором
«Сверхчеловечья» дурь с войной, чумой и мором
Тайком — из одного родятся ручейка;
Когда досуг найду заняться их единством;
Когда зоила я задену хоть мизинцем
(А я его, считай, не трогала пока);
Когда томительных и грозных сладкозвучий
Живыми глазками снабженную парчу,
Беспозвоночный блеск, проворный и ползучий,
Я, дрожь гадливости уняв, изболочу;
Когда художников я воспою (нельзя же
С улыбкой повторять в нахальном саботаже,
Что подвиг мастеров уж ведь бывал воспет
И даже крестиком чернильным для порядка
Помечен был не раз! А значит, без остатка
Исчерпан надоедливый предмет!);
Когда коснусь картин, чей блеск для жизни новой
(Не для забвения!) нам гений завещал,
И статуи, чью красу знаток бы счел «готовой»,
Но Пушкин пел ее и нам не запрещал!
Когда приметный шаг я сделаю в пейзаже —
Пейзаже мира и познания (нельзя же
Мир бесконечный счесть понятным до конца,
И неизменными — фигуры в тучах мглистых!),
Когда напраслину сниму с понятий чистых,
Таких, как мастерство: пера, смычка, резца;
Когда я кривотолк, дурацкий до предела,
Поэту с умыслом вредящий, низложу,
Тогда (но только лишь *тогда!*) «Мавр сделал
дело, —
Мавр прогуляться может смело!» — я скажу.

Не спорю: никогда, конечно, сам не знаешь,
Куда тропа свернет, когда стихи слагаешь:
Уж так заведено,

Что с непредвиденным непостоянны узы,
И где наступит нас, а где покинут музы —
Нам ведать не дано.

Но даже у таких, как мы (хоть мы — поэты,
Считай: лунатики, юроды, чудаки),
Есть некоторый смысл в очах. И есть приметы,
Что мы имем цель! И что недалеко
Бываем от нее. (Тут спросят: «Неужели?»)
О, более того! Мы *достигаем* цели!
В отдельных случаях, конечно, не во всех.
Суди же: стоит ли мне гнать Пегаса мимо
Той горстки замыслов, что, в общем, выполняю
И подзолочена надеждой на успех?

Ах, вечный прожектор (как в драмах
говорится),

Всерьез обдумывая важные дела,
Пройду вся в золоте проектов, как царица!
(В окошках кумушки-то ахнут: «Где взяла?»)
Где? Так как с лучшими надеждами на «ты» я,
Прожекты у меня, конечно, золотые,
Но разве мой карман от них отяжелел?
Да и немислимо представить, чтобы некто,
Не дав мне скромных прав и на проект проекта,
Моих же для меня иллюзий пожалел!
Притом же — я и в них, быть может, не успею;
Как знать, куда меня дорога приведет:
К бессмертным или же к Бессмертному Кашею?
(Вотще затем все в ночи его болот!)
Мало ли что: хандра, житейский быт, болезни...
Кто сам не песня — тот обычно против песни...
Да, впрочем, на себя из золота забот
На первый случай мы не так уж много взяли,
Как погляжу теперь...
Пополнить груз нельзя ли?
Чтоб нас уж поделом, а не зазря терзали
Превратности пути...
Вперед, мой стих! Вперед!

1976—1978

...И цвета, расплетаясь, гаснут.
(Их союзничества некрепки.)
Ну и что ж, коли в сад не выйдешь?
Что ни зги с крыльца не увидишь?
 Благо сумеркам!

Есть и в доме
Зренью слабнущему зацепки:
Флоксы белые,
Стул вертящийся
И шиповника рдяные репки.

...«Во живут! — ненавистник скажет,
В обрастанье вещами готовый
Уличить мой дом.— Во мещанство!
Во буржуйства образчик новый!»
 Да какие же это вещи?
 Глянь как следует, бестолковый!

Приглядись: где ты видишь вещи
Для удобства жилья и для носки?
Или хочешь в мое хозяйство
Облаков записать полоски?
Эх, да где ж тебе догадаться,
Что не есть предметы богатства:
 Кот на лестнице, гвозди, клещи,
 Шум деревьев, стихов наброски...

Да, прекрасен шиповник спелый,
Закатившись под купол белый
Из соцветий благоуханных.
Но утешься: цветы завянут,
А шиповника ягод рдяных
В этом доме варить не станут.
Стул вертящийся ты называешь
Вещью в доме? Прошу прощенья;
У меня голова кружится
И без этого винтовращенья!
Я ни разу не отдохнула
И на краешке этого стула,
А держу его для украшения.
(Ты не слыхивал, для примера,
Что такое «болезнь Меньера»
И ее всевертящая сфера?)
 Но бесплодны с завистником споры!

Что ж... Лишенного в мыслях опоры
Я бы, злобного, приговорила
На вертящемся стуле (который
Мне старушка одна подарила)
День за днем вертеться, вращаться —
С твердой почвой навек распрощаться!

Как прославленная Франческа
В нестихающем вихре ада,
На вертящемся стуле этом
Парню вихрем завиться надо!
Одновременно грызть шиповник.
С колким пухом внутри, невареный.
Это днем. А на ужин — флоксы
Должен нюхать приговоренный.

II

Тихо в доме. Стемнело вовсе.
Только шелесты вдруг пробегают:
Осыпающиеся флоксы
Как бы шарканьем слух пугают
Грозным; шепчут, остерегают...
 То цветы, объявляя ропщуще
 Об отлетах своих и отплытьях,
 Отрываясь от шапки общей,
 Повисают на мягких нитях.

Я пугаюсь, воображая:
Это страх пробегает по коже,
Прямо в сердце меня поражая
За какой-то проступок, похоже!
 Беспокойно впотьмах. (Но лампу
 Зажигать не хочется тоже.)

Да... С моей стороны жестоко,
Даже слишком жестоко было,
Что к вращающемуся стулу
Я завистника приговорила,
 Пожелав несчастному
 вихрем,
Как Франческа в аду, завиться,
Дни и годы волчком вертеться,
Никогда не остановиться!

Так вот на́ ночь, на сон грядущий
Намечтаешь себе на шею...
— Ладно, дерзкий, слезай со стула,
Так и быть! — говорю злодею.—

Уж в очах у тебя, наверно,
Тьма и неба с землей слиянье?
А ведь это мое обычное,
Каждодневное состоянье! —
Так с достоинством знатока я,
Даже собственника, сказала.—
Есть — ты знаешь? — болезнь такая...—
Но... с вращающегося стула
Негодяя как ветром сдуло,
Будто от роду не бывало!

В тьме осенней, как в теплом коксе,
Грезит дом перед долгой зимою.
Чуть белеют — пятнами — флоксы,
А шиповник сливается с тьмою.
В шаткий стол упираю локти.
Приуныв, я догадки строю.

Скоро крыша над головою
Протекать начнет понемногу,
Да и лестница развалилась,
А нельзя починить, ей-богу!
Потому как подорвана база:
Табуны мои в данное время
Далеко — за горами Кавказа;
В сокровищницах — ни алмаза,
А карманные, зыбко-туманные
(Кто связал их заботами прозы?),
Долго то «улыбались», то «плакали»,
А теперь — улыбнулись сквозь слезы.

Но зато недугов так много,
Что знакомцу-врачу не под силу
(Славный медик! Не то что больного,
А здорового вгонит в могилу!
Вместо клятвы врача Гиппократ
Клятву страшную дал он когда-то,
Доконать меня, раз нездоровая!)

Но не эти меня смущают
Преходящие, в общем-то, вещи:
Ты, завистник мой,
ты, ненавистник мой,
Озадачиваешь похлеще!

Ну какой здравомыслящий злыдень
Позавидовать мог бы на деле
Пыткам памяти, старому платью,
Дырам в крыше, болезням в теле?!

...Вот уж лампу зажечь пора бы,
Да боюсь: при ней растеряю
Даже звенья догадки слабой...
Лоб усиленно растираю;
В чем тут... Нет! Не могу догадаться.
Так недолго, глядишь, и зазнаться!

...Ах! Прискорбной гордыни примеры
И предерзкой гордыни бывают,
Если маленького поэта,
Как великого, одолевают!

Перед гением благоговей,
Ног его коснуться не смея,
Не страдая тщеславием люто,
Примечаю: козни злодея
Весь мой нрав изменяют круто!

Я торгуюсь уже, как ветошник;
Вот и я, знать, немножко художник,
Если зависть питаю чью-то!

С великанами духа равняться —
И нескромно, и, в общем, доука.
Но, стерпев от завистника отповедь,
Поневоле подумаешь: «Вот ведь...
И в веках такая же штука!»

Привыкая к фигуре Сальери
(Слишком частой в твоём интерьере),
Занесёшься, сумняшесь ничтоже;
Не захочешь, а сделаешь вывод;
«Ах, не только с такими, как мы вот,—
Так бывало и с Моцартом тоже!»

Что ж... Видать, нам нельзя не зависить
Тех (быть может, полезных?) амбиций
Благородства, которых завистник
Все равно от нас хочет добиться!

III

...И луна встает одиноко
Над лесов бесконечным биваком.
(Не дает мне уж более срока
Между сумерками и мраком!)

Сноп цветочный в посуде стеклянной
В битве с бабочкой, тучной, шафранной,
Проломившейся в дом из сада,
Осыпается в беспорядке...
Не включить ли свет?
Нет, не надо:
Я еще ведь не знаю разгадки.

Чем же кормится зависть?

Ни ранчо
У меня, ни коровы в краале,
Ни аренды, ни гасиенды,
Ни идиллии, ни пасторали,

Ни замашек рантье...
Понемножку
Я живу, всякой малости рада.
Я владею подобием сада
Шириною с ладошку.
А дале?
Дале?
Разве только уж рощи взгляда?
Начинаются,
Простираются,
Не кончаются
Рощи взгляда
Моего...

Я встаю и включаю
Свет повсюду. Все вещи — на место!
Ибо, кажется, наконец-то,
Наконец-то я, кажется, знаю
О пружинах безудержно злобной,

Без вины беззащитному мстящей,
Козни строящей,
Небо коптящей
Черной зависти, аду подобной!
Нет, не ветхая эта светелка
Ненавистнику ревность внушает.
Нет, не собственная метелка,
Не фамильный мой веник мешает
Спать ночами изделию ада...
О Мадонна! Ведь это ж надо!
Он таким оказался пропащим!
Он завидует Рощам взгляда!
Сочиненным, как настоящим!

Незаконному сыну природы,
Мировому рантье и злодею
Жаль, что вымышленными садами,
Замком призрачным я владею
И любую даль называю,
Не присваивая, своюю.

Как бы мне ни хворалось в свете
И какой я ни выгляди робкой,
На каком расплохом табурете
Ни сиди я за скромной похлебкой —
По каким-то моим движениям
Он догадывается, — я знаю! —
Что я в рощах Титании нежной
И в садах Оберона гуляю
И что путь мой туда и обратно
Мне обходится, дерзкой, бесплатно.

Этим выведен совершенно
Из себя мой противник бывает,
И доподлиннейшую анафему
Мне на темя — из туч — призывает;
Кару, самую тяжкую в свете, —
Войны, мор, престрашнейшие стружья! —
За блаженные вылазки эти,
За филоновство внутри трудолюбья,
За — внутри недостатков — роскошность
Грез... И отдыхов этих победу...
Особливо же за невозможность
Взять билет и пуститься по следу
Моему...

Как бы мне ни хромалось на свете,
Я — в его представлениях — еду
Шестерней в золотой карете,
В золотом убранстве... Ни тряски,
Ни преград на пути не зная...

Потому: у меня есть краски.
И одна меж них — золотая.

Что ты взыщешь с несообразных,
Диких и неестественных плутов!
Эти дурни,
Духовные блага
Почему-то с житейскими спутав,
Вещи рынка не отличают
От поэзии атрибутов!

Дерзкий баловень благ житейских
(Тип, как правило, в благах везучий),
«Во живут!» — громыхает филистер,
Встретив баловня слов и созвучий.
И, на эльфов моих усадьбы
Устремив пепелящие взгляды,
Патетично ворчит: «Отобратъ бы,
Да и сдать бы в аренду, под склады!»

Эх, простак! Да ведь как ты отымешь?
Как вопрос об аренде подымешь?
Ведь не куплена же и не строена,
А записана, торжествуя,
На летающей паутине,
В мягкоперой небесной сини
Асиенда, где в грезах живу я!

Вот откуда и недоразуменья
Относительно денег с имения;
Вот зачем гульденмейстера злого
И торговца во храме природы
Сокрушенное сердце страдает;
Чует вроде: случились расходы,
А в каком выраженье — не знает...
И отсюда же — горечь позора.

Для смятенного его взора
Жизнь поэтов такое же горе,

Как для яростного гувернера —
Мальчик, знающий дырку в заборе
И легко от карающей трости
Ускользящий в тайные рощи —
Рощи взгляда...

Род людей повстречав непонятный,
За которыми блеск незакатный
Вымысла, и престолонаследность
Певческая, и расцвет созвучий,
Красок щедрость, понятий небедность
(Говорю уж не столь о себе здесь!),
Наш зоил — даже самый везучий —
Кулаком вослед потрясает;
«Во живут,— говорит,— богатеи!
Но безвкусны богатства затеи...»
И в бессилье локти кусает,
И о жизни вздыхает лучшей...

* * *

В море ночи закат уносит
Облаков последних обломки.
Но окно обозначилось резче.
В доме есть преотменные вещи,
И еще их не скрыли потемки;
Стулья, флоксы, шиповник спелый
С пухом белым в красной котомке.

И вчера был вечер погожий —
Я вполкисти его набросала,
Как могла... И сегодня — тоже;
Та же бабочка с флоксом плясала,
Так же, вслух, лепестки облетали...

Но, в сравнении со вчерашним,
Что-то новое нашептали
Звуки вечера ларам домашним!

Чтоб художников подвиг продолжить —
Я — давно ли?! — и думать не смела.
Но и я, знать, немножко художник,
Коли недругов рать заимела?

Быв слугой высочайшим маэстро,
Не искала я их эвереста,
Лишь склонялась вниз, у преддверья.
Но... спасибо злым людям!

(Напору
Злобы, дувшей нам в спину,
Злобы, гнавшей нас в гору —
К мастерам!)

Не на худшее место
Не последнего их подмастерья
Уж без страха вступаю теперь я.

И, предвидя, что это событие
Для завистника будет ударом,
«Мы» — намерена впредь говорить я
О себе и о мастере старом.

У людей дарования разны:
Те из гипса, а эти алмазны.
Но у всех, КТО РАБОТАЕТ, силы
Одинаково на пределе
Пребывают в мирской канители.
Дерзко? Что ж... Ведь меня и зоилы
Скромной видеть никак не хотели;
Не иначе как в тронной зале
Табурет мой поставить дерзали,
И за это ж мне сами терзали
Душу живу...

...Какой побочный
Сын природы,
ощеренный злобно
Вельзевульчик, с картинки лубочной
Соскользнувший,
зоилу подобно
Позавидовать мог бы на деле
Пыткам памяти, старому платью,
Дырам в крыше, болезням в теле?!
Ты, завистник мой, ты, ненавистник,
До конца оказавшись пропащим,
Позавидовал Рощам взгляда!
Сочиненным, как настоящим.

В этом факте, смиренные слишком,
Мы, художники, гордость обрящем!

И хотя дураку известны
Наши горести все и напасти
(Ибо к этому делу старанья
Он и сам приложил отчасти);
И хотя о таких же точно
Для себя он навряд ли мечтает;
И хотя нашей трапезе скромной
Ужин собственный предпочитает,
А с вращающегося стула
Вроде сам, добровольно, слетает —

Все равно остается что-то
(Что бы это могло быть такое?!)
Выпадающее из расчета,
Не дающее дурням покоя...
 Все равно глухая забота
 Отпустить их сердце не может;
Нечто странное, непонятное...
То, что вечно их завистью гложет

К тихим людям воображенья,
К обращенью их простому,
К их фигурам, в тряпье одетым,
К безупречно бедному дому.

1976—1980

* * *

В тиши весенней,
В тиши вечерней
Вблизи от прерий,
Вдали от гор
Стояла ферма.
Стояла ферма,
А возле фермы
Пылал костер.

В котле широком
Кипело что-то,
А рядом
Кто-то
Сидел — мечтал...
Котел кипящий —
Огонь шумящий
Ему о чем-то
Напоминал.

Вот ночь настала —
Костра не стало;
Последний уголь
Погас,
Погас...
А тот, сидящий,
В огонь смотрящий, —
Он тоже скрылся,
Скрылся
Из глаз...

И мы не знаем,
Ах, мы не знаем:
Был или не был
Он на земле,
Что в тихом сердце
его

Творилось
И что варилось
В его котле.

* * *

Вот уж, кажется, десятки,—
Что там! — сотни тысяч раз
Слышали,
Что надо жизнью
За поэзию платить!
Да. За вечное везенье
В сочинении стихов —
Жизнь отдайте без остатка,—
Вот мы слышали о чем!

А не слышали, так знаем
Из журналов, книг, газет,
А поди ты — ведь не верим,
Сомневаемся опять;

— Жизнью?!
Ну, уж это слишком!
Может статься,
Изловчась,
Можно как-нибудь иначе
Милость музы заслужить?..

Все напрасны ухищренья:
Аполлона обмануть —
Все равно что негра спрятать
Под стеклянным колпаком!

* * *

Нам хочется чудес
Великих!
Но откуда
Мы взяли, что не чудо
Хотя бы — этот лес?
Хотя бы этот берег
С ключами и камнями?
Хотя бы этот снег
С бегущими тенями?
Хотя бы — человек?
А именно — мы сами!

Колодец наш бездонный
Пополнен — чуть иссяк...
Мечте — и объясненной! —
Остаться в чудесах.
И после пояснений:
Кто и откуда он, —
Все той же тайной
Гений
Пребудет окружен.

ЧУДОДЕИ

...И туда смотреть непрерывно
Нравилось мне в детстве когда-то,
Где, в пространствах, сдвинутых дивно,
В дымной перспективе заката,

У преддверья сумерек летних
В отблесках беснуются нежных
Листья,—
Обратясь в силуэтных
Резких человечков мятежных;

Кланялися между пинками,
Толпами друг друга толкали,
На толпу толпа — набегали
И, не добежав, поникали...

Мнилось: колпачки их и пляски,
И воротники их и флаги
Старый капельмейстер из сказки
Вырезал из черной бумаги.

Навязав их столько, что в доме
Не было от них перебою,
Тихо он снимал их с ладони,
В сад их выводил за собою.

По траве холодной и лунной
Человечки шли вереницей,
И за ними взгляд свой латунный
Мастер устремлял длиннолицый.

Цепью выпускал их и штучно,
С лестницы над ними склонялся,

Уходил домой
И беззвучно
(Чтоб никто не слышал!)
Смеялся.

Собственной смеялся затее,
Может быть, немножко некстати,
Как смеются все чудодеи
Ночью
И на бурном закате...

ЗВЕЗДА

Летний вечер тихо настает:
Верещат кузнечики в тиши,
Соловей за рощею поет,
При луне чернеют камыши,

И, бросая тени в глубину,
Закрывают облака луну.
И моя вечерняя звезда
В облаках сверкает иногда.

Я люблю вечернюю звезду;
Я ее всегда так долго жду!
Я к закату солнце тороплю,—
До того я звездочку люблю.

Пусть она грустна и далека,
Пусть ее скрывают облака,—
Верю, знаю: свет ее сейчас
Далеко уплыл,— но не угас.

И зимой, когда вокруг темно,
(Вьюга в поле, буря ли в лесах)
Где-то есть, я знаю, все равно
Верный свет, как сторож на часах.

В дымке скрыта,
В тучах не видна,
Неприметна и при свете дней,—
Все равно я знаю:
Мне дана
Ясная звезда судьбы моей.

Это синее небо,
Это жаркое лето,
Эта музыка света,
Что мелькает за листвою,
Да будет воспета
Всем сердцем поэта!
Да сбудется где-то
И с другими и с тобой!

ДЕВУШКА ИЗ ХАРЧЕВНИ

Любви моей ты боялся зря,—
Не так я страшно люблю!
Мне было довольно
 видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И если ты уходил к другой
Или просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ
Висел на гвозде.

Когда же, наш мимолетный гость,
Ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было довольно того, что гвоздь
Остался
После плаща.

Теченье дней, шелестенье лет,—
Туман,
Ветер и дождь...
А в доме событие — страшнее нет:
Из стенки вырвали гвоздь!

Туман, и ветер, и шум дождя...
Теченье дней, шелестенье лет...
Мне было довольно, что от гвоздя
Остался маленький след.

Когда же и след от гвоздя исчез
Под кистью старого маляра,—
Мне было довольно того, что след
Гвоздя
Был виден — вчера.

Любви моей ты боялся зря:
Не так я страшно люблю:
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать
Улыбку твою!

И в теплом ветре ловить опять
То скрипок плач,
То литавров медь...
А что я с этого буду иметь?
Того тебе — не понять.

* * *

Не серая стая сов
Повыше кустов,
Пониже деревьев летит,—
То серые волны свои
Река
В рассветное море
катит.

В камне,
В суровой оправе гор
Дорога ее темна,
Но в одни и те же минуты
придет
К заре и к морю она.

Река,
Бегущая к морю,
Позволь тебя удержать!
Позволь
До самого моря
Всю ночь тебя провожать!
Дозволь
Отраженным звездам дрожать,
Река, на глади твоей,
С плеском утешным волны твоей
Дай мысли перемешать...

И в стороны отвлеченья
И мелочности позор
Могущественней теченье
Сносит, как ветхий сор...

Река, идущая к морю,
О, дай твой мотив уловить;
Взгляд на волне твоей остановить
Дай на одно мгновенье!

В камне,
В надменном дозоре гор
Дорога ее темна,
Но в одни и те же минуты
придет
К заре и к морю она.

* * *

Кастальский ключ проник во все проемы.
Росли из прялки струны и лады.
И в летописцев первые труды
Вошли певцов и риторов приемы.

Что там — поэты! Судьи и суды —
Уже и те с поэзией знакомы!
В их протоколах спрячутся следы
Лиризма и ораторские громы...

Придет художник — правого спасет,
Неправый суд — на холст перенесет.
Все гении сначала — адвокаты.

И входят в мир, причудливо смешав
Шум ветра, звездный свет,
защиту прав,
Страсть к истине и вешние закаты.

ВОЙНА ВОДЫ И ЛЕСА

Буйно-пребуйно росла бузина,
В росте веселом неслась без ума:
Ветер устами не мог продышать,
Месяц лучами не мог промешать.
 А под широкою той бузиной,
 В омуте, в холоде — жил Водяной,
 Жил-поживал, пузыри пожинал,
 Той бузины отраженья жевал.
А из-под камня таращился рак,
Диву давался, выспрашивал так:
— Сладко ли, батюшка, воду-то грызть?
Эк ведь какая чижелая жисть!
 — Сладко не сладко, — ему Водяник, —
 Делать-то нечего, я и привык.
 Коли прикинуть да ежели взять,
 «Голод не тетка» и даже не зять.
Знамо, калиновы тени вкусней
Да и сытнее бузинных теней,
Ан не беру я калину в расчет:
Вишь, загордилась — у нас не растет!
 Я и малину в расчет не беру:
 Не хороводится в нашем бору,
 Не отражается в царстве моем...
 Что отражается, то и жуем.
— Чем же ты думаешь хлеб оправдать?
— За год стараюсь поменьше съесть,
Дно подметаю, протоке служу,
На зиму впрок отраженья сушу.
 Али не веришь, опасливый рак,
 В кухню ко мне заходи, коли так!
 Видел и ты отраженья в воде,
 Только сушеных не видел нигде!

— Ты меня в гости зовешь, Водяной,
 А угощаешь так тенью одной!
 Что ж нам бузинные тени жевать?
 Что ж... хочь живой бузины не нарвать?
 — Ох, не сломить мне багряную гроздь:
 Я на земле не хозяин, а гость,
 Только в воде моя сила и власть,
 Стыд Водяному — прибрежное красть!
 Разве что в омут единожды в год
 Ягода с ветки сама упадет?
 Вот уж тогда я над ней — голова!
 Так бы и съел ее! В день или в два...
 Ан берегу я ее для гостей,
 А и делю-то на сорок частей,
 Ан затеваю той самой порой
 Пир — не пригорком, а целой горой! —
 ...Так вот и жил Водяной, поживал,
 Тихую тенью под тиной сновал,
 Странничков тешил в полуденный зной.
 Только пришел к Водяному
 Лесной!
 Леший прослышал (невнятно пока)
 Про подкоряжную жизнь старика;
 Слух до него докатился и гул
 Про Водяного опасный разгул.
 «А Подкоряжник-то дедушка — хват,
 Сильно гораздый шутить невпопад!
 Эх разгулялся в своем терему —
 Ягоды на год хватает ему!..
 Видно, у ягодки росту — верста!
 Нет в моем царстве такого куста,
 Чтоб наедаться по ягоде в год...
 Где Водяник такие берет?..»
 А и как начал Лесной хохотать,
 С берега сучья-коряги метать,
 Пни муравьиные в воду валить,
 Ровно из пушек, из дупел палить,
 Ровно из пушек из дупел палить,
 Пылью палить да трухою пылить,
 Перьями перить да пухом пушить,
 Ломом да сором протоку душить.
 Старыми листьями пруд завалил,
 Так завалил — ровно чай заварил:
 Темной да бурою стала волна,
 Туча песчаная встала со дна!..

...Высохла речка, и омута нет.

А Подкоряжного — стинул и след;

Видела белка: шагал с узелком...

(Спутала, видно, с простым стариком.)

Вместе с водою и сам как вода,

Встал да ушел неизвестно куда...

Только весной на деревьях опять

Мелкими каплями стал выступать,

Только туманами бродит в логу...

(Больше скажу — поневоле солгу!)

Только летает кулик молодой,—

Тонкие крылышки пахнут водой.

ГАЛЧОНОК

Потеряла галчиха галчонка —
Колченожку, плюгашку, чернушку.
А подкинули галке скворчонка —
Прямоножку, милашку, пеструшку.

Стала плакать она и рыдати,
Стала грудью к земле припадати,
И слетелись на крик ее птицы
И расселись по краю криницы.

— Что ты, глупая, плачешь, рыдаешь,
Что рыдаешь, к земле припадаешь?
Уж твое ли дитя не резвушка,
Прямоножка, милашка, пеструшка?

— Не мое это чадо, а ваше,
А мое-то дитя было краше:
Мутно перышко, тускла макушка,
Колченожка, плюгашка, чернушка!

РОССИЯ

К России все подходят разное: кто робея,
Кто любопытствуя: мол, дескать, вот она,
Анекдотическая даль... Гиперборея!
Страна величественных вихрей! Царство сна.

Кто до себя поднять (простаки!) Россию хочет,
Кто, ей безбожно льстя, иронию таит.
Кто беды ей несет (и сам же их пророчит!),
Кто покровительственно с нею говорит,

Кто — напрягая лоб, кто — в духе скверной шутки,
Кто — как с пастушкой, нежно дующей в свирель,
Кто — как с пророчицей, помешанной в рассудке,
Кто — как с царицею, кто — как с рабой своей.

К ней пожинать плоды снисходят Христа ради,
Устроить гений свой, свой бизнес, петь, порхать...
Но редкому придет простая мысль... пахать
На земледельчества неслыханной громаде!
(Покличь сердешного, его и не слышать!)

Так, стало быть, он гость? Тогда... какого сорта
Цель высмотрел пострел в столь бедственном краю?
Послушай, это мысль! — Ты узнаешь Лефорта?
Нет. И его не узнаю.

Лефорт — Кот в сапогах. Маркизу Карабасу
Несущий к Рождеству игрушек ярких массу.
Мегущий, кланяясь, пером на шляпным пол...
А этот не привнес, как говорит проверка,
В морозный зимний мрак ни искры фейерверка
И перышком в сенцах ни разу не подмел.

Не внес ведь ни-че-го!
Ни в избу — крошки ситной,
Ни новой черточки в Руси вид самобытный.
Так, может быть, хоть гнев? Быть может, разъярясь
На нашу «нищету, невежественность, грязь»,
Хоть дверью хлопнул бы, и вспылчив и не мирен,
Негодованием высоким трепеща?
Но... слитком золота изрядным оттопырен —
Как раз при выходе — был край его плаща!

Вот наши судьи кто!
Вот наши кто эзопы!
Их рвенье — в грязь втоптать Руси стези
и тропы,

Ее Историю навыворот прочесть,
С насмешкой приписать ей славу всей Европы,
Чтоб тем ловчей отнять ту, что и вправду есть!
А есть немалая!
Свой — богатырский, детский,
Благочестивый жар, свой гений есть у ней!
Что толку ей лубок приписывать немецкий
И псевдоавторство над лавкой мелочей?

Прочь, лесь безмерная!
Прочь, преувеличенье
Вещей, действительно имеющих значенье!
Льстец мало что лукав,
Льстец — нагл! За ним разбой и превышенье прав.
Нагл баснословный царь, велевший море высечь,
Но тот наглей, кто льстит волнам; кто осмеять
Их тщится... И мудрит, стремясь преувеличить
То, что и так нельзя объять.

СКВОРУШКА

Молодой скворушка
Обошел дворушко,
Обскакал дворушко,
Потерял перышко.
 Подбирал перышко
 Воробей Жорушка,
 Собирал сборушко:
 Чье, ребя, перышко? —
Налетал сборушко
(На воре ворушко!),
Подымал орушко:
— Отдавай перышко!

И — пошла ссорушка!

БЫЛО ТИХО...

Было тихо, очень тихо, —
Ночь на всей земле.
Лишь будильник робко тикал
На моем столе.

Было тихо, очень тихо, —
Тихий, тихий час...
Лишь будильник робко тикал,
Мышь в углу скреблась.

Было тихо, очень тихо, —
Дрема без забот...
Лишь будильник робко тикал,
Мышь скреблась,
Сверчок пиликал,
Да мурлыкал кот.

Было тихо, очень тихо, —
Тихий час теней...
Лишь будильник робко тикал,
Мышь скреблась,
Сверчок пиликал,
Козлик мекал,
Кот мяукал,
Поросенок дерзко хрюкал,
Бык ревел,
И две собаки
Дружно вторили во мраке
Ржанию коней.

КРОЛИЧЬЯ ДЕРЕВНЯ

Кролик в Африке живет,
Усики подстрижены.
В барабан багряный бьет
У порога хижины.
Бан! Бан!
Бинг-диль-бан! —
Кроличий барабан.

Деревенскою толпой
Набегают кролики,
Под банановой листвой
Накрывают столики.
Бан! Бан!
Бинг-диль-бан! —
Кроличий барабан.

Умереть за этот звук
С голоду согласные,
Все же — все едят вокруг
Кушанья прекрасные.
Бан! Бан!
Бинг-диль-бан! —
Кроличий барабан.

Над оранжевой землей
Сумерки спускаются.
Кто-то машет головней —
Искры рассыпаются...
Бан! Бан!
Бинг-диль-бан! —
Кроличий барабан!

Разгораются впотьмах
Звездные сокровища...
В крытых зеленою домах
Спит деревня кроличья.
Бан! Бан!
Бинг-диль-бан! —
Кроличий барабан.

Ну-ка, спать, крольчата, спать!
Ночью бегать нечего!
Только сходит к ним опять
Голос дня прошедшего.
Бан! Бан!
Бинг-диль-бан! —
Кроличий барабан!

Только плачет при луне
Флейта одинокая.
...Зимней ночью
Снится мне
Африка далекая!
...Бан! Бан!
Бинг-диль-бан! —
Кроличий барабан.

Выйду в рощу погулять,
Где высоких трав река.
Стану флейте подпевать.
Африка!
Африка!

ПРЕМУДРАЯ МЫШЬ

Задумала мышь в кладовую сходить,—
Хорошего сала кусок ухватить!
Опасны такие дела,
И робость воровку взяла.

Но мышь сказала:

— Волков бояться — и в лес не гулять.
Волконского бояться — Лесковского
не знать.

Страшиться Волковицкого — не видеть
Лесовицкого.

И пошла мышь смело,
И украла, и съела.

Хозяйка заметила мышей разбой,
Пошла, принесла мышеловку с собой,
В ловушке оставила сало,
И мышь
В мышеловку
Попала.

Но мышь сказала:

— Что ж...
И на старуху бывает проруха.
И на старушку бывает этак прорущка.
И на старушенцию бывает прорушенция.

Старушенченко идет —
Прорушенченко ведет...

А к ночи Котенко в кладовку зашел,
В кладовку зашел — мышеловку нашел;
Мышенко хотел проглотить,
Но как мышеловку открыть?!
И мышь сказала:

— Ах! Не всё коту Масленица!
Не токмо к Маслову Котову прогуливаться-стать!
Забудь, Котовиков, дорогу в Масленников Посад,
Да протопчи-тко тропку теперя да в Постникову
Пустынь!

По-моему, так никакому коту
Сломать мышеловку не возмоготу!
И взял себе кот отпускного,
И вряд ли воротится снова...

Радуется мышь-воровка:
Спасает иногда, гляди, и мышеловка!
И мышь сказала:
— Нет худа без добра, что я сюда попала!
Нет Худякова,— говорит,— без Добрякова!
Не представляю,— говорит,— себе Худовецкого
Без неизбежного (выглядывающего из-за его плеча)
Добровецкого!
Худыня,— говорит,— без Добрыни — не человек.

ПОНИ

И снова я
В зоопарке.
Полдень высокий, жаркий,
Клеток
Тени рябые,
Аквариумы
Голубые.

В бубенчиках
И в лентах
Пони бегут по кругу;
Девочек в тапочках летних
Пони везут по кругу.
Пони везут по кругу
Мальчиков разгоряченных,
В желтых, зеленых, телесных,
Пахнущих лаком
Тележках.
 Белый пони промчался,
 Пестрый пони промчался,
 И золотистый пони
 С белым пятном показался.
 Вот он, вот он, вот...
 Мальчика пони везет.

Мальчик
Едет на пони,
Желтого пони
Бьст.

— Мальчик, не бей! — кричу я.—
Мальчик, не смей! — кричу я,
Мальчика, бьющего пони,
Остановить хочу я.

Но пони бегут по кругу —
Дальше,
 мимо,
 вперед...

Мальчик заносит руку,
Желтого пони
Бьет.

Пони бегут по кругу,
Справа бегут налево,
В глазах моих — желтые, красные
Круги
От солнца и гнева...

Скройся из глаз, повозка
Злобного сорванца!
...Но нет конца у круга,
Нет конца у кольца.
 И снова — белый пони,
 И снова — пестрый пони,
 И золотистый пони,
 Которого мальчик бьет...

— Мальчик, не смей! — кричу я.—
Мальчик, не бей! — кричу я,
Мальчика, бьющего пони,
Остановить хочу я,
Но пони бегут вперед.

— Бросьте! — заметил некто,
Давно уже рядом стоящий.—
Он бьет его старой веревкой,
Не крепкой, не настоящей.
И мальчик не уймется
До той поры, пока
Последняя из веревки
Не вытреплется пенька.

— Что ж, вы, пожалуй, правы,
Вы молодой, но кроткий:
Мальчик молотит пони
Не настоящей плеткой,
 Да и лошадки пони —
 Не настоящие кони.

Мальчик не настоящий тоже
(Надо упомянуть!).
Может быть,
Он
Настоящим
Все же
Станет когда-нибудь!

...Бежит по кругу лошадка.
Не настоящая?
Пусть.
Но в темных глазах
Лошадки
Дрожит настоящая грусть.

* * *

Ночь.
Волны прибрежные черны.
Море,—
Море напрасно ждет луны.
В бухте ни огней, ни голосов.
Не отражает парусов
Незрячий блеск волны.

Пальм не видно в сумраке ночном.
Но... я все равно их видел днем!
Дышат их верхи под теплой мглой,
Как дышат угли под золой
Полупотушенным огнем.

Что там?
То ль это лодка, то ли плот...
Кто-то
По морю темному плывет
И песню, песню старую поет...
К воспоминаниям зовет
Старая песнь меня...

Только... Вот и не знаю как мне быть!
Что же мне надо вспомнить? А что забыть?
Нет воспоминаний у меня.
Я помню радость утром дня
И грусть на склоне дня.

Море обрывки пены у чёрных скал
Сеет... Но это не то, что я искал;

Память не удержала
Часов и дней,
Что стоило помнить ей.
(Ты, ночь,
возьми их назад!)

Только и дышит струн протяжный звон
Памятью незапамятных времен;
Только о бывших и не бывших днях
Волны впотьмах шумят.

УЧИТЕЛЬ

И мой не смолкнет смех перед вечерней тьмой...

Эдмонд Ростан

Влияние Ваше ведь не было прямо,
Отвесно. Не жгло непокрытое темя:
Оно разливалось везде, повсеместно,
Царило всегда. Все время.

Ваш старый наставник, учитель
школьный,

Учил не меня, — жил давно и далеко.

Но думать о нем избегаю невольно,

Как будто с его урока

Сбежала и я — раньше срока!

Ваш маленький пони

Прошел через поле

Весной,

Когда пели вечерние птицы, —

Из дыма фиалок, из той медуницы,

Что я собирала на воле.

Ваш серый Мышонок,

на каменных плитах

Живущий в нетопленном Вашем

камине,

Престиж запоздалый холеных и сытых

Подтачивает поныне.

Цветет Ваша Роза — всех тоньше и краше! —

В том царстве, где вешние розы не вянут

И где бедняки, Неудачники Ваши,

Сойдясь, наконец-то счастливыми станут,

Счастливыми станут!

Я Вам обещала прославить Поэта,
Воспеть Неудачника,
Свергнуть Буржуя...
Та песня, где все это будет,— не слета,
Но старое слово
Сдержу я.

(Учитель!

Ведь Вы и меня, не иначе! —
Готовили к той Неудаче великой,
Которой дельцы, джентльмены Удачи,
Завидуют
В ярости дикой?)

...Влияние Ваше ведь не было прямо
(Отвесно,— как падает луч из зенита),
Оно разливалось везде, повсеместно...
Оно и теперь не забыто,
Как годы, прожитые честно,
Как вещь Ваша защита.

СТРАНА ПРИБОЯ

1978-1980

*СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ОТЦА МОЕГО
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА МАТВЕЕВА-БОДРОГО*

БОБРЫ

В зоопарке в тесноватой клетке
Беззаботно жили два бобра,
Разгрызая ивовые ветки,
Мягкие, с отливом серебра.

Но горчил печалью полускрытой
Терпкий привкус листьев и коры:
«Ну а где же то, за что мы сыты?
Где работа?» — думали бобры.

Как рабочих к лени приневолишь?!
Им бы строить, строить да крепить,
А у них для этого

всего лишь...

Пополам расколотый кирпич!

Подошли бобры к нему вплотную,
Половину подняли с трудом,
С важностью взвалили на другую...
Из чего же дальше строить дом?

Что же дальше делать им? Не знают.
Приутихли. Сумрачно глядят.
Сгорбились. О чем-то вспоминают.
И зеленых веток — не едят.

ХВОЩ

В лесу, где изредка пересекала птица
Деревья, полные роптания и смут,
В унылых сумерках, предвосхищая пруд,
Хвощ полупризрачный мне вдруг решил явиться.

И превратил меня почти что в духовидца,
Представ передо мной столь тонок и столь худ,
Что усомнилась я: он тут или не тут?
Но он, входя, уже не мог остановиться.

Уже он брал мое терпенье на измор;
Он изводил меня уже запудством чистым,
Томил количеством, пустым и водянистым...
И вот уж с трех сторон, как войско тускарор,

Он тек... Мне слышались обрывки воплей тонких,
И перья реяли на острых головенках...

ЦВЕТЫ

Голос трав неизвестен паукам,
Голос трав и тишайших цветов;
Пораженный привычки недугом,
Всяк лишь громкого слушать готов!

Иван Киуру

О цветы в зеленом оперенье!
Эти звезды мокрого огня
В раскаленной свежести цветенья
Прямо с листьев смотрят на меня.

Чуткий нрав, на муку обреченный,
И на вещи утонченный взгляд
Только-только в них открыл ученый,
А поэт... семь тысяч лет назад.

Всяк цветок — нам говорит наука —
Чует фальшь, тоску, дурной азарт,
Ищет в песне родственного звука,
Морщась болью в грохоте поп-арт.

Страждет до последнего изгиба,
Падая как будто в кипяток,
Сорванный не той рукою
Либо
Не тому подаренный цветок.

Как поэта, его ранит больно,
Никогда терзать не перестав,
Снимок зла, им созданный невольно,
Тайно отраженный на листах.

Кто при них унижен?
Кто обманут?
Уж на листьях запись тут как тут...
Вот зачем они так быстро вянут,
Вот зачем так скоро опадут.

Отольется, братцы, все на свете!
Где-то на неведомой черте...
Ну так что ж? Семи тысячелетий
Не пройдет — и мы отыщем — где!

Но певец так долго ждать не хочет:
Знал допрежде, знает и теперь:
Оборвали Аленький Цветочек —
Грянул гром, поднялся темный зверь...

Зверь лесной ли, чудо ли морское
Вновь вернется дерзких проучить, —
Вряд ли снова сыщется такое
Сердце, чтобы гнев его смягчить.

Сказку вспомнить все еще не поздно.
А теперь кто хочет — пусть опять
Скажет нам, что сказка несерьезна
И что грех «цветочки» воспевать!

ОСЕННЯЯ ЖАРА

Бузинные листья застыли.
Поникли ромашка и клевер.
Настойчивым блеском пустыни
Облит озадаченный север.

Парнишка, босой и чумазый,
Пускает бумажного змея,
Но змей возвращается наземь,
Без ветра летать не умея.

Береза,
Блестя белизною
И зеленью дымно-зеркальной,
Под долгим мельканием зноя
Сама себе кажется пальмой.

Она околдована этим
Еще не раскрытым секретом,
И кажется: если бы ветер,
Она бы шепнула об этом.

Но если подыметесь ветер,
Береза шепнет не об этом;
Но если подыметесь ветер,
Береза расстанется
С летом.

ПЛАКАЛЬЩИЦА

Что не плакальщица я, не причитальщица,
Не рыдальщица, сердцам не надрывальщица,
И к чужому-то я горю не привальщица,
И волос-то на головушке не рвальщица!

Не люблю я нашу плакальщицу Феклушку:
Она ходит бережливо, как по стеклышку,
Поколыхивает черною одежею,
Юбкой пасмурной да шалью непогожею.

А и смотрит она, Феклушка, иконою,
А лицо-то у ней воблино, копченое,
А зовут-то ее, черную палачицу,
Где самим бы надо плакать, да не плачется!

А вы гляньте ей в глаза: они сухим-сухи;
Суше камня, суше ветра, суше засухи!
Аж до боязного сухо, до песочного!
Никакого дуновения проточного.

На крылечко-то ничком она бросается,
Лбом-то бьется, да слеза не вытрясается,
А как не было бы Феклушке заплачено,
Вот тогда бы наша Феклушка — заплакала!

ДОЛИНА РЕКИ

Свист ветров...

Но как долина далеко бежит, однако!

Как сверкают мел и глина под грозой в разрывах
мрака!

В небе — страшными верстами — тучи... Снова
стихли звуки.

Лишь отдельными листьями егозит лозняк в излучке.

Лишь в рябинах — по вершинам — лад раскачки
канительной

(Маятной и канительной,
Маятной и канительной);

Лишь на иве — вихри клином, словно ей —
закон отдельный,

Ветер — свой... И, свившись с ветром, — глянть:
скользит, меняясь в росте,

Вся в листе отливно-светлом, как магнит,
собравший гвозди.

Так железо в переплавке, изогнувшееся яро,

Сыплет с прысканьем булавки, мягкие еще от жара...

...Вижу небо. В цельных тучах
вижу трещины-расколы.

Страх черемухи на кручах. Даль... Обрывы ярко-голы;
Их уступы, их террасы... Тень-привычку, свет-обновку...
Листьев маюющей массы перепуг и остановку.

Глохнет мира половина.

Но в молчанье, из-под сплина

Туч — увиливая явно,

Далеко бежит долина, — русло вьется своенравно...

СОРОКОВЫЕ ГОДЫ

Когда вступили мы впервые
В ревущие сороковые
(Но не широты, а года),

Мы не смогли бы, не сумели
Под пули стать, надев шинели:
Ведь были дети мы тогда!

Наш путь, однако, не был нежащ:
Мы жили
Как бомбоубежищ
Из стен пробившийся росток.

Нас тусклой пылью обдавала,
До нас полою доставала
Тень войск, идущих на восток.

Но редко мы твердим об этом.
Не потому, что «шпингалетам»
Был всяк заказан батальон,
Не потому, чтоб не видали
Войны существенных деталей
И смерти явственных сторон.

А потому, что ведь (по слухам)
Одетым в черное старухам
Не надобно напоминать
Про их прощанье с сыновьями!
И без того
(Мы знаем с вами!)
Вовеки сына помнит мать.

Зачем к печалям беспримерным
Нам приступать Фомой Неверным?
В незаживающее лезть?
Прости, Фома!

Но палец в рану
Я ей заталкивать не стану,
И так я знаю: рана — есть.

Молчание — не умолчанье.
И дико нам само звучанье
Разговорившихся скорбей!
Ужели истинное горе
Не в немоте, а в разговоре?
Не понимаю, хоть убей!

А ты,— прости! — с какого краю
Ты подходил к войне,— не знаю:
Не может быть, чтобы связист
Или сапер на поле боя,
Увидев смерть перед собою,
Стал так напыщен и фразист,

Как не был и до встречи с нею!
Я за тебя давно краснею!
Друзей так много, может быть,
Там на глазах твоих почило!
Но... даже смерть не отучила
Тебя красиво говорить!

Теперь,
Какую ткань ни вытки
И, наставительный до пытки,
Каких ни распиши атак,
С перстом, надменно вверх воздетым,
Мы спросим: — Ты-то был при этом? —
Мы скажем: — Что-то здесь не так...

О да! Покуда подрастали,
Мы смерти явной не видали:
На нас не прямо глянул Вий,
А только искоса и вкриве
(Когда в своей недоброй гриве
Мотал нас ветер дистрофий),

Но и теперь,
В семидесятых,
По мелочам и для дебатов
Тревожить павших не хотим:
Пройдем, молчание утроив.
Глубок, священен сон героев
И с суетой несовместим.

КРУГИ ЧТЕНИЯ

Читатель-чувственник, сластена любострастный,
С губами, вроде как сосущими лимон.
Лишь похождениями бредит он, злосчастный,
Но Приключения — не восприимлет он!

И вольный парусник, и в море путь опасный,
Шторм, абордаж, побег — его вгоняют в сон,
Как монотонное ворчанье дамы классной,
Оберегающей девичий пансион.

Как едко он острил (чуть не с Вольтером вместе!)
Над добродетельностью «ангелов» и «дев»!
Потрафим; подгребем к нему пригоршню бестий,
Таких же, как он сам! Но вдруг, рассвирепев,

Он вместе с «ангельством» пиратство отмечает
И — уж без примесей — бульварщину читает!

ПЕСЕНКА ПРО ПОЧТАЛЬОНА

Едет!
Кто это едет?
Едет, держит руль без перекоса.
Едет,
Дорогу цедит
Сквозь велосипедные колеса...

Кто не пел про почтальона!
Почтальону и почет
И честь!
Птицей в сумке почтальона
Бьется радостная весть!

По садам, садам зеленым,—
Видишь? — даже солнце ходит следом,
Следом за почтальоном,
За его простым велосипедом.

Кто не пел про почтальона!
Почтальону и почет
И честь!
Птицей в сумке почтальона
Бьется радостная весть!

Если ж
Дурные вести,—
Почтальона, братцы, не корите,
Только
Со мною вместе
Песенку эту повторите.

Почтальоны ведь не боги,—
Те же люди, что и вы,
Точь-в-точь,
Тем любезнее в итоге
Вам готовые помочь...

Кто не пел про почтальона!
Почтальону и почет
И честь!
Птицей в сумке почтальона
Бьется радостная весть!

ПЕСНЬ О ЖЕМЧУГЕ

I

В закате раннем
Море убегает,
Трофеями — роняя корни трав,
И, убегая, даль отодвигает
В такую даль, что обдувает страх
Мой лоб — в замену ветра...

Мнится: море
При мне мелеет!
На глазах моих!
Мгновенно вязнут в каменном зазоре
Песок да ил с печатью волновых
Плоеных сгибов — следом волн живых...

Для орошения устричной усадьбы —
Еще сочит их оттиск под песком...
Как быстро сохнет море!
Век бежать бы
Наперерез!
Неужто всем куском
Вот так и пропадет? Не вспомнит ни о ком?!

Вслед морю замигали торопливо
Две лужицы у сохнувших камней...
Постой же!
Да ведь это час отлива!
И нянькой с нами — даже в час отлива —
Осталась даль
И все, что есть при ней.

По ребрам дюн метет морская птица,
Неутомимый перистый компас...
Отлив не вечен!
Море возвратится,
А даль —
И не могла уйти от нас.

II

Даль — всем помощник, каждому союзник.
И зримая и скрытая в цене.
Ни для кого не хуже. Даже узник
Железной маски
В толще башен грузных
Полоску дали видел на стене.

И мыслил только с далью совокупно
Тень пламени в решетке фонаря.
О недоступном — всем мечтать доступно.
Кому откажешь в праве рваться зря?

А вещи рядом?
Но ведь вещи рядом
Мне только укорачивают взгляд!
Им даже лестно властвовать над взглядом
И, чуть зазнался, гнать его назад,
Назад, в глаза...
А те опять глядят!

Но вещи есть... Из дыма ли, из стали,—
Казалось бы, до них недалеко,
А ведь их вид отмечен знаком дали,
Как маркой странной фирмы: «Даль и К°»!

Таинственные.
Даже если тронешь,—
Не встрепенутся, не заговорят!
Глядишь на них и вместе с ними тонешь
В том далеке, где души их парят.

III

Где вяжут воду водорослей ветки,
Все пазухи подводные забив,
Где — кровь морей — проносятся креветки
В артериях течений голубых,

Где океан кидается бодливо,
Как синий бык на пурпурный платок,
На цвет зари... И по краям залива
Дымятся ребра сломанных плотов.

Но лучше всех рассказывает жемчуг —
Бездонная росинка-водоём;
И не упомнишь, сколько он напечатет,
Наговорит — в безмолвии своем!

Раз, например, сказал (с такой тоскою!)
О раковине, матери своей;
«Она больна, а я здоров. Я стою
Тем меньше, чем я больше стоил ей».

Или еще: «Всплыла в своей скорлупке
Жемчужина с заоблачного дна;
Дитя луны, малютка в лунной шлюпке,
Большой луне была удивлена!»

Зимою, летом, осенью ль, весною,
Презрев камень, злато, дуб, орех,
Так и хожу я с книжкой записною
За жемчугом: он видел больше всех!

(Для скальда
За жемчужиной тащиться,
Как за богатством, надобности нет;
Она мне дорога не как вещица,
А как рассказчица и как поэт.)

Одно название голову закружит:
«Жемчужина»! Читай: «Я же молчу!»,
«И мчу же я!» (простор!), и «Чу!», и «Вчуже», —
Перечислять я больше не хочу.

Тут столько сразу!
Радуги явление,
Ваянье облаков, закабаленье
Огня, полузавернутого в снег,
Молчание, журчанье, затопленье,
Бездонная пучина, вечный бег...

...Но ждал меня удар почти смертельный!
Сказали мне, короче говоря,
Оценщики, что... жемчуг был поддельный,
Что не видал он дали беспредельной
И все мне лгал про синие моря.

СОНЕТЫ ЛЭМУ¹

I

Дивлюсь: как я могла — на гребень невезенья
Ступив, томясь душой, теряя счет заботам —
Так долго избегать чудесного спасенья,
Запрятанного впрок под темным переплетом!

Как я могла — с хандрой мешая потрясенье
И судорожный бег с насильственным полетом —
В тот безотрадный край пускаться за Мельмотом,
Где бездн из тусклой тьмы стоокое глазенье?!
Не грех ли: унывать и упиваться ядом
Отчаянья, когда бальзам целебный рядом?
Когда на помощь к вам рад кинуться с отвагой

Великодушный Лэм! Чьи шутки так учтивы,
Чьи слезы так чисты с их безответной влагой,
Так мужественна честь! Так часты смеха взрывы!

¹ Чарлз Лэм — английский писатель-романтик начала XIX века. Всю жизнь посвятил уходу за старшей душевнобольной сестрой, что помешало ему создать свой семейный очаг. При отсутствии личного счастья, обеспеченности, других особых удач, Лэм в своем творчестве всегда оставался оптимистом. Лэм написал книгу о Хоггарте. Оказал заметное влияние на Чарлза Диккенса. Был ценителем и поклонником вещей и явлений, в его время считавшихся «старомодными» или «устарелыми». Основным в его наследии считается сборник блистательных эссе «Очерки Элии».

II

Да. Память — Ваш конек! Клячонкой золотушной
Ее прозвал бы хлыщ и выставил взашей.
Но Вы приладили рукой неравнодушной
Карбункул горбунку на лоб между ушей,

Вспоив его мечтой — росой души своей!
И весел скакунок, ребячливо-послушный.
Меж тем... располагай Вы остальной конюшней —
Не предпочли бы ли Вы взрослых лошадей

В галопах дней? Как знать... Ваш выбор невелик.
Так храбро Вы пошли на подвиг Ваш семейный,
Что не осталось Вам и жребия иного,

Чем помнить, вспоминать... Как Ваш сияет лик!
Как возвышает Вас страх перед тем, что ново,
И перед прошлым днем восторг благоговейный!

III

Нет, Вы не старомодны. Не уйти Вам
В небытие! Как праведность судьи,
Как пэр, что даже с нищей был учтивым,—
Раскрытый зонтик нес над ней в дожди,—

Ваш голос жив. До Вас не дорасти
Авангардизма хитрым примитивам;
Кто первый догадался быть правдивым —
Уже тем самым станет впереди.

Иные люди мне чудны, ей-богу:
Нос по ветру держать и с веком в ногу
Вышагивать — на их наивный взгляд,

Одно и то же! Мучаюсь вопросом:
Ну как так можно — путать ногу с носом
И все-таки стремиться в первый ряд.

Обязывает музыка земная,
Небесная — покой приносит мне.
Кантат академических не зная,
Прислушаемся к песенке во сне.

Так отдыхает пахарь в тѣнях мая
На буковом иль на вишневом пне;
Так — от фѣоритуры — к тишине —
Перескользнет, — опять полунемая! —

Весна... И в рощах лень... Так чуткий Лэм
Не хочет слушать музыку совсем!
Зато он слышит в громе экипажей,

В мальчишеских вечерних голосах,
Как Темпл молчит... А там, быть может, даже
Как полночь бьет... на солнечных часах.

* * *

Зима сверкает ослепительно,
Мотает шелк с веретена
И богатеет накопительно,
И... нам не нравится она.

Беспечно эту копь алмазную
Мы обменять на лужу грязную
Согласны; только бы весна!

Когда ж вот так поистратимся
(Ведь счет у времени суров),
То после, может быть, и хватимся
Зимы несчитанных даров.

Ее снегов суровой косности,
Ее коньков молниеносности,
Томительности вечеров.

Весны рассеянность великая,
Бродяжьей скуки благодать,
На многих скрипочках пиликающая,
Боюсь — принудит нас понять,

Что, после теплых дней вторжения,
Немыслим труд воображения;
Что зиму рано было гнать,

Что пламенем и снегом вымысла,
Пролившегося неспроста,
Ее цветущий образ вымылся;
Что белизна — не пустота.

Что в зимних дней однообразии
Все мысли крылись, все фантазии,
Как в белом цвете — все цвета.

ЦВЕТОК БАГУЛЬНИКА

Цветок багульника лиловатый
В банке с водой
и с наклейкой «Томаты»
Напоминает мне о затоне
И о дожде на лесистом склоне.

И о древесных грибов резине...
О дубе с мокрой отставшей корою,
В дикой подснежниковой низине
Срезанном молнией шаровою.

Корни багульника с пузырьками.
У банки донышко — подзеркальник.
Вода зеленая, прутья буры,
Стекло волнисто — и вьет фигуры,

Напоминая в своих изломах
Улицы
Городов незнакомых
И тот, запрятанный между часами,
Час, когда песни приходят сами.

Час, когда летние сумерки чисты,
На мостовых нарисованы рожи,
А ноги зевак на мосту — волнисты,
На отраженья в реке похожи...

Зато и стройны́ и так прямы сами
Их тени в качающейся воде!

О, время между часами!
Час, не учтенный нигде,—

Как та,— в старинном воздушном шаре
Накачка воздуха про запас,
Как тот, седьмой, в часовом футляре,
Козленок, спрятавшийся от нас,
 О, странный,
 Нигде и никем не записанный
Час!

Когда, вздыхая душисто-влажно
И рупорами сложив ладони,
Дали тебя окликали протяжно
Через багульник в банке с водой!

Когда луна под мостом ночевала,
А ветер тщетно искал привала,
Когда натура воображенью,
Мечты сияющему внушенью
Повиноваться повелевала.

...Цветок багульника лиловатый
В банке с водой (и с наклейкой «Томаты»),
Ты сам не пахнешь,
 но в аромате
Других растений — ты виноватый!

В часе, какой выпадал, неровен,
Не ты виновен!
Но ты замешан в цветенье смелом
Растений многих и мира — в целом!

Цветок багульника розоватый
На утре белом.

МОСТ НА ЯНЦЫ

Над желтой Янцзы-цзян мост железнодорожный.
Какой гигант его воздвигнул неизвестный?
Ах! Поезд проскакал, издав свисток тревожный...
Но людям здесь — нельзя; так редко свит железный

Платформы переплет над видной в дырки бездной.
Но кто (почти ползком) тут брел, неосторожный?
Две девочки по той решетке невозможной
Над бешеной Янцзы держали путь совместный.

На мыловаренный завод глаза распялив,
Далеко забрели... Закат прохладный палев.
И вот, перебирая мост, идут как вяжут...

И снова поезд их, летя, прижал к перилам...
Потом одна из них мне это перескажет:
То было с матерью моею в детстве милом.

МОЕ ОТНОШЕНИЕ

Навстречу мне — не помню, сколько раз, —
Вы подымали пару мрачных глаз,
Тяжелых и увесистых, как гири.
(В каком-то смысле вы штангистом были!)

Вы подымали «каверзный» вопрос:
Как отношусь я к нациям?
Всерьез.
Ревниво и равнодушно смалу
Я отношусь к Интернационалу.

Быть может, дело в том, что прадед мой
Был фельдшер корабельный, врач морской?
Он переслал мне в гибком кругозоре
Всеврачеванья мысль и образ моря.

И парусник прадедовских времен
В глазу моем с тех пор отображен.
Он подбирает почту. Но и тоже
Всех тонущих. Любого цвета кожи.

Я всех приветствую наперебой,
Кто мне не предназначил быть рабой.
Но тем, кто надо мной желает власти,
Я говорю не «здравствуйте», а «здрасте».

Когда я вижу: кто-то плут и псих,
Я не спешу обидеть малых сих.
(Гм... *Дюжих* малых сих... Сих дюжих

малых —
Прожженных бестий и пройдох бывалых!)

Кто я, чтобы сурово их судить?
Я та, в чьем арсенале могут быть
(Уж я не говорю про недостатки!)
Пороков неосознанных десятки.

Но и мое терпенье не гранит!
Мне жизнелюбство пошляков — претит.
И с пылом протестантов убежденных
Я не терплю
Повелевать рожденных!

Как?! Вечно пальму первенства искать,
А дивной пальмы равенства — не знать?!
Не понимать речения блаженства
С старинным ударением: «Равѣнство»?!

По счастью, тем, кто трудится, плевать
На всех «родившихся повелевать»;
Там, где они приказывать рождаются,
Не всяк родился им повиноваться.

И... путается их прожектов нить...
Как с миром быть? Пригреть или спалить?
Они еще и сами не решили,
Ан вознестись над нами поспешили!

Хоть не созрел еще для взлетов тот,
Кто злобствует, ворует или лжет;
Смешно, когда из-под небесной тоги
Обычные выглядывают ноги!

Людская серость, впрочем, всех лютей
Престолов жаждет. Скипетр снится ей,
Гром, крылья, цепи, кровь, попанье братьев...
(Все то, чего нельзя желать, *не спятив!*)

Людская серость, впрочем, всех лютей
Стремится спятив. Допинг нужен ей.
И факелам тем пуще дурни рады,
Чем суше в зной пороховые склады.

Таким — великовозрастным — нельзя
«Детишкам» спички доверять! Не зря
Их жестких глаз прожилки кровавые
Перетекают в зарева степные!

И — «мальчики кровавые в глазах».
Но то, что Годунову было — страх,
Отчаянье, раскаянье, прозреньё,
Для них... источник удовлетворенья!

Чего Борис себе простить не смог,
Для них — тренаж! Гимнастика навпрок.
Что прошлым для него ужасным стало,
Того им и для будущего мало!

Им жалость непонятна. Трус и смерд
В их представленье тот, кто милосерд!
И вы согласны, чтоб вандалы эти
Людьми считались первыми на свете?!

Кто сам себя избрал — не суть мудрен,
Хоть и ловкач! Расизмы всех времен
С бордюрчиком романтики по краю
Я «бабьим экстремизмом» называю.

Зачем за бесноватеньких душой
Вступаться вам? Эх, на крови чужой
Цветет «прекрасный юноша», Нарцисс-то!..

...Что с вами?
Я обидела нациста?

Но зверских кланов гнусному отцу,
Нацизму оскорбленность не к лицу,
Потерпит! Но скажите, разве было,
Чтоб я *национальность* оскорбила?

Когда же я смолкаю, все сказав,—
Зачем у собеседника в глазах...
Нет, не протест, не вызов, не обида:
Ножь и огонь! Гроза и Немезида!

Зачем — в конце столь, в общем, здравых
слов —

Он... Ба! Да он убить меня готов!
В припадке яростного, как пиранья,
«Национального самосознания»?!

ПЕСНЬ О ДАЛЕКОЙ ДАЛИ

Где-то
в далеких краях
Есть одинокий маяк.
Старенький сторож на нем обитает,
Серые волны, скучая, считает.
Знаю: встречает, потом — провожает

Все уходящие вдаль корабли.

Знаю: пучина морей
Скрыла троих сыновей.
Не оттого ли с тех пор и доньше
Старенький сторож перечит пучине?
Пальцем грозит океанской пустыне,

Бурю встречая, трясет головой...

Но временами маяк
Весь расцветает, как мак;
Лодка подходит к нему с провиантом.
Старенький сторож нарядится франтом,—
Шляпу с коричневым кожаным бантом

Держит рукой, чтобы ветер не снес...

Все же в конце-то концов
Лодка уносит гребцов.
Не оттого ли с такою тревогой
Вдруг просыпаюсь я ночью глубокой?

Только помыслишь о дали далекой,—
Кругом от грусти идет голова...

ПОДМАСТЕРЬЕ

Мне вдруг подумалось: а хорошо бы
Стать подмастерьем!
Выше счастья нет,
Чем гнаться с тонкой кисточкой учебы
За смелой кистью мастера вослед!
Все притязанья дерзкие забросить!
Коня поворотив немного вспять,
Художника возвышенную проседь,
Как снег на Альпах, снизу созерцать!

Сойти в низину первого старанья,
В лог замыслов, курящихся едва...
Стать мальчиком для красок растирапья!
(Не то слуга, не то — детеныш льва!)
Всегда в долине! От дождя и ветра
Быть огражденным горною грядой.

(Бог упаси, чтобы в картину мэтра
Вписал деталь Мурильо молодой!)

Быть подмастерьем! Значит, лишь попутным
Цветеньем красок блузу пропитать.
Дом, где живешь, тем более уютным,
Чем меньше он исследован, считать.
И в этом славном, тайны полном доме,
В каморке мгlistой до прихода сна
Беспечно слушать шум дождя в соломе,
А за стеной — беседы допоздна.

За той стеной (на ней — подобьем пятен —
Картины: «Роща» и «Ловцы сардин»)

Ты слов не разбираешь. Но приятен
Их самый звук! Ты в мире не один!
Спи. А зарей... не торопись, пожалуй,
Призванья жар на люди выносить:
Те, кто берег жаровни уголь малый,
Большое пламя кинутся гасить.

Ей-богу, хорошо быть подмастерьем!
Промасленные кисти полоскать.
Потерянные тюбики искать,
Пушинки прививая к нежным перьям
На шапочках натурщиков...
Но что я?
Дверь настезь. Ночь как прорва.
Снег пустынь.
Пути назад обрублены. Аминь!

Художников, не знающих покоя,
Последняя надежда, не покинь!

ЦВЕТОК

Тюльпан —
Как пламя прямое.
Без дыма. Спящее стоя.
С чуть горьким запахом свежести.

Слетаются тихо на свет шести
Его лепестков из шелка,
Богатых, как плащ Норфолка,
Видений старинных оравы;

На лицах от сучьев ссадинки...
Все в бархате, скачут всадники
Среди королевской дубравы.

Тюльпан —
Как пламя прямое.
Без дыма. Спящее стоя.

Вижу в нем глубокое и веское
Совпадение тени и огня.

Будто сплю за красной занавескою
В середине солнечного дня.

ЖАН-ПОЛЬ

...Эта книжка — «Зибенкез» —
Мне наперсницей была;
И достойна, и мила,
За руку меня вела

В тот имперский городок,
Что в окне свечу зажег,
Дабы свет ее лучей
На брусчатник перетек.

В том имперском городке
Тощий малый в парике
Держит ножницы в руке.

Он умеет, так сказать,
Отвлеченность осязать —
Силуэты вырезать!

Этим теням без лица
Позволяя без конца
Из-под ножниц выползать;

Из раскрытого окна
Этой длинной цепи сна
Бесконечно выползать,

Дабы, площадь обогнув
Да в проулок завернув,

За далекими домами

Исчезать...

Благородный Зибенкез!
Вас мой давний интерес
Превозносит до небес!

Не беда, что, например,
Как за мышью фокстерьер,
Тень бежит наперерез

Человечкам вырезным,
Вереницам их чудным...
Не присматривайтесь к ним, —
Даже вам их не догнать!

За углом оторвались,
Быстрой плотью облеклись —
И пустились — в ночь — бежать...

Так от ножниц ваших
вдруг
Отцепился полон дом
И господ, и хитрых слуг...

И ночных ворот проем,
И карета с фонарем —
Тоже дело ваших рук!

И Леннета Ленорман,
И Лейбгебер, — дивный план
Начертанный на песке! —

Движущийся налегке
С треуголкой в руке,
Зибенкеза лучший гость,
Чью приветливую трость
Вот уж — слышу вдалеке...

Превосходный Зибенкез,
Не являйся мне опять!
Не спеши напоминать
О печальных временах!

Об унылых временах,
Чей невольный след исчез,
Не изволь напоминать,
Зибенкез!

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

Я Зайчик Солнечный, снующий
По занавескам в тишине,
Живой, по-заячьи жующий
Цветы обоев на стене.

Рождаюсь я — где вам угодно:
В росинке, в трещинах коры,
В листве, вздыхающей свободно,
В окошке песьей конуры,

В настороженном песьем ухе,
В слоистом отблеске стекла,
В цветном крыле той звучной мухи,
Что ночь за рамой провела,

На грядке стрелчатого лука,
Который стоя ждал зарю,
Из полумрака, полужвука
Рождаюсь я! И говорю:

Я Зайчик Солнечный, дразнящий,
И если кинусь я бежать,
Напрасно заяц настоящий
Меня стремится обогнать.

По маслянистым кольцам дыма,
По кровлям, роцам, парусам
Бегу,— привязанный незримо
Лучом восхода к небесам.

День.
Вечер.
Взрослый фильм запущен.
Всё до звука
Нам слышно. Но ни зги
не видно за дверьми...

Что за комиссия?
Создатель!
Что за мука
Быть честного отца примерными детьми!
Лиана дерзкая ворчит:
— Довольно глупо...

Вот!
Называется — мы дочери завклуба,
А нам от этого корысти — ни на грош!

Но, беспокойная, как в джунглях
обезьяна,
Изобретательна моя сестра Лиана:

— Идея! Дверь!
— Что — «дверь»?
— Идем!

— Как тут пройдешь?

Весь мир увидит нас из зрительного зала!

— А мы — мы пробежим — и сразу за экран...

— А за экраном фильм не виден, — я сказала.

— Еще чего?! Кто так считает, тот баран.

В том-то и штука! Вся картина, как ни странно,

Просматривается

С той стороны экрана!

Но только движется (уж так заведено!)

В другую сторону.

А нам — не все равно,

В какую сторону для нас идет кино?!

Нам только бы кино увидеть, — вот что важно!

Нам этой дверью надо пользоваться впредь...

Но дверь... не то что днем:

Она скрипит протяжно

И заставляет нас на месте замереть...

Однако шаг, другой — и мы на сцене вновь!

Как декорации кругом трещат некстати!

Сквозь их фанерный лес мы крадемся, как тати,

Которым сучьев треск оледеняет кровь...

Ах, только б не сейчас на нас нашлась
управа!
...Когда глядишь кино, то дверь домой —
направо.
А слева — ничего впотьмах не разберешь.
(Как в брюхе у того гиганта-монумента,
Парижского слона, где с некого момента
Еще с двумя детьми жил некогда Гаврош!)

Но чу! Сюда идут!
Шаг слышен слева вправо...
И, как два кролика под кожей удава,
Мы в складках занавеса прячемся...

3

В душной тьме,
Шерстистой, как горилла,
Дикий голос пел про Ниагару,
Фабрика задумчиво курила
Толстую кирпичную сигару.

Пыль крутилась, прежде чем садиться
За дома, идущие на слом,
И луна с пустым лицом садиста,
Сдвинув рот, стояла за углом.

Черный фрак.
Сухой цветок жасмина.
Черный плащ.
Над бровью шрам от раны.
Черные штаны.
Такая мина,
Будто руки всунуты в карманы.

Но... как так?
Стоять у водостока,
Привалившись к ящику,
и вдруг...
Оказаться где-то так высоко!
Так далеко!
В воздухе... Без рук...

О, луна!
Так скоро нас покинуть!
Черный плащ оставить в черной яме!
Черный фрак на росный щебень скинуть!
Нагишом уплыть над пустырями!

От земли отделаться безглаголиво,
Приложиться к облаку щекой
И уплыть!
Без пудры и без грима,
Без противной хари городской...

...То темно, то скучно взрослым было,
«Шумно», «душно», «поздно», «грязно»,
«тесно»,
А у детства только два мерила:
«Интересно» и «неинтересно».

Детство — босоногая элита,
Голодранец и аристократ,
Презирает неустройство быта,
А устройством брезгает стократ.

С верой, не слепой, а лишь наивной,
О своем мечтая вышем часе,
Бредит спешкой детство —
этот неизбывный,
Временно гуляющий в запасе,
Вечно юный полк воображенья...

...Словом,
Было бы грешно
Нам не удирать без разрешенья
На сеансы взрослого кино!

Вообще же дети мы как дети,
Ибо нас ведет стезя запрета.
(Пусть на том — быть может, лучшем — свете
Мать с отцом не взыщут с нас за это!)

Мы не злы и лжем — почти невинно.
(Жаль, почти не чувствуя стыда!)
Было что-то в нас от Гека Финна
И от Тома Сойера тогда.

Как справедливо то, что доброту отца
Я буду воспевать и помнить
До конца.

Он добротой своей был прямо заарканен!
Тянулся вслед за ним всегда — и млад и стар:
Китайка Константин Демьяныч¹ (молдаванин,
Художник). Маленький Деросси (кочегар).
Провинциальные актеры: Мигунова,
Что куталась в платки от ветра ледяного,
Д. Протопопов — мим. Чужой гипнотизер
(Чей нас так испугал надменный синий взор!)...

Все, кто не знал, как быть,
Кто в чем-нибудь нуждался,
Кто денег не берег, удачи не дождался,—
Все шли к нему. И всем он помогал. Пока
За ним не прижилось прозвание Чудака!

Деросси молодой (лет двадцати примерно)
Был связан для меня с механиком Салерно².
Спросите: почему? Какой тому резон?
Уж, верно, потому, что итальянец он.
Притом же истопник.
Безмолвный,

но с веселым

Лицом — как бритый гном! — он обитал под полом,
Наверх по временам выныривая вдруг
И пропадая вновь...
На цирк, на ловкий трюк,
На все, к чему влеклись все наши интересы,
Похоже было тут!
И на страницу пьесы
С живой ремаркою: «Проваливаясь в люк»!
В ботинках вытертых и старых,
но не рваных
И зашнурованных опрятно, до конца,
Он руки и тогда умел держать в карманах,
Когда, «проваливаясь», исчезал с лица

¹ Молдавский художник.

² «Механик Салерно» — рассказ Бориса Житкова о механике, который погиб, спасши всех пассажиров парохода, потерпевшего крушение.

Земли! И сызнова — с чуть сонным, но веселым
Лицом — из клубных недр откуда-то всплывал
(Как бы сорвавшаяся водоросль, гондолам
Спешащая под киль), покинув свой подвал,

Наш клубный кочегар...
Когда нам скучно было,
Когда по улице метель, кидаясь, была
И снежный вихрь афиши старые срывал,
Нас утешала мысль, что где-то там,
Под полом,
Счастливый кочегар Деросси проживал
И что, невидимый для верхнего народа,
Там пламень бушевал, как в топке парохода!..

...Короче говоря, отец, всегда сердитый
На взятки и разбой,— весь век дразнил волков.
И с «места» не один съезжал,

но с целой свитой

Таких же, как он сам, счастливых чудаков
И бессеребреников чаплинского толка.
Но даже и таким безкумым «кумовством»
Его не попрекнешь!

Работали при нем

Не только истопник с художником,
не только

Артисты бедные, которых

прежде знал,

Но, разумеется, и новый персонал.

Жорж — клубный куафер

(всегда шалун немножко).

Кассирша Лазарева Рая (хромоножка).

Финашкин (красил клуб, газеты расстилал)...

И все-то, в ком была типичного хоть крошка,
Как тучи с отблесками гаснущего дня,
С героями кино мешались для меня!

Так —

Прыгать на экран

и спрыгивать с экранов,

Жить саламандрами внутри киноогня

Могла, казалось мне,

(чуть не средь бела дня!)

Лихая парочка фабричных хулиганов,—
Надменный Лазарев и шумный Андрианов!
А с ними — вежливо-коварный Ушаков,
Такой же хулиган.

(Но мы от вас не скроем,
Что после Ушаков пришел с войны
Героем.

А облик прежнего прохвоста — был таков!)

А тунеядец тот (Одну его приметку
Я описала вслух знакомому поэту:
Босой, но в галифе) был соколовский, наш!
Чем я горжусь весьма!

Но так как парня скоро

В. взял в свои стихи из моего «фольклора»,—
Должна предупредить (на следующий раз),
Что был до жалости неполон мой рассказ.

Забыла досказать (не правда ли — растяпа?!),—
Не только в галифе, не просто босиком
Гулял фабричный фронт;

еще была на нем,

На ухмыляющемся, фетровая шляпа
И майка красная.

Цветущий, как никто,
Он был рожден для грез и для игры
В лото.

Пожалуй, только сам Деросси

мог равняться

С таким натурщиком!

И состязаться в том,

Как — в летний жар — мечтать,

как подпирать плечом

Все тумбы, все углы...

(Как — сразу! — прислоняться

И к тумбе, и к углу, и к двери, и к стене,—

Понятно было им, но непонятно — мне!)

Ведь, как подумаешь, — на все нужны колумбы!
Читала я, что Билль-Белоцерковский

спал

(Давно, в Нью-Йорке), спал... внутри афишной

тумбы;

Все поражалась я: как он туда попал?

Глава вторая

...О счастливое,
довоенное
Ослепительное кино!
Вальсы Штрауса!
Польди смиренная,
Карла Доннер «во все полотно»!
Детства глупого лента
бесценная,
Оборвавшаяся давно...

Там, за щелканьем шпор
офицерских,
За сиянием «ангельских» глаз,
Мы не слышали окриков зверских,
Мы не видели рож богомерзких
(Суперменских и сверхизверских),
Тайно подстерегающих нас!
(Ведь тогда не настал,
не настал еще свастики час!)

Начиается «Остров сокровищ»!
Вот бы Сильверу дать по рукам!
Подлый лис! Ты подвохов настроишь
Честным, храбрым, как львы, морякам!
Часть команды зловеца и бросава.
Порох. Боцмана быстрый кивок...
Даль...
Разбойника длинноволосого
Песнь тягучая, длинный зевок...
Волны...
Шхуна бежит как стоит...
Близок срок
Беспокойно-томительного разоблачения...
(От зудящей особой тропической скуки
рывок

В Приключение!)
Но тогда не пробил,
не пробил еще
свастики час.

Выбеленный
Застенок
Голого света.
Чу! За шварцвальдами где-то
Вскачь,
Как тенелишенный Шлемиль,
Тень загнавший свою за бесценюк
(Не Европа ль горит?!),
Свет без тени
Прошагал уже тысячи миль...

Спятивши,
бедную голову
охвативши руками,
Семимильными, страшными скачет он где-то
прыжками,
Рвы и пропасти перемахивая сквозь сон,
В жажде ночи, как цели,
Как последней постели,
Где бы голову мог преклонить
бесприютную он!..

...О, счастливое,
довоенное,
Ослепительное!
Так давно
Ослеплявшее нас...
Ведь тогда не пришел,
не пришел еще
свастики час!

Он пробьет. Но ведь мы «салажаты»,
Наши уши руками зажаты;
Нам ли в почве расслышать зерно,
Нам ли зло отвратить мировое?!

...Слишком громко кино звуковое.
Слишком немо немое кино.

*

...Но кто — безмолвный тот —
герой кино немого,
Который громче всех сказал
в искусстве слово,
Смысл необъятного художества объяв?

Курносых башмаков носы все время врозь,
А шляпа-котелок изношена — хоть брось.
О нет! Под гнетом бед бедняк не хочет гнуться,
Покуда галстук цел и чист воротничок!
Но стоит к нам спиной бедняге повернуться,
Тотчас какой-нибудь обрывок иль клочок,
Приставший позади, как зайца хвост короткий,
Разрушит весь эффект!

А с этакой походкой

В рай процветания и вовсе путь нескор!

Да... Слез и хохота с нормальной точки зренья
Здесь непочатый край!

Но вижу до сих пор

Я обывателей холодное презренье

К тебе, великий и трагический актер!

И ни смешинки в их глазах, и ни слезинки!

На Чарлза Чаплина идут как на поминки!

Вид гениальности им скучен! «Вздор!», «Тоска!»

Но роль Бродяги все ж так удалась актеру,

Что зритель с деньгами готов ему, как вору,

Как настоящему бродяге, — дать пинка!

Непонимание?

Не очень безобидно

«Непонимание» подобное!

Суди:

Чарлз Диккенс входит в дом, а Финчингу не видно!

Чарлз Чаплин, — а ему: «Пшел вон! Слышь? Уходи...»

Нет! Здесь уже не лень и уж не «дело вкуса»!

Здесь ярость пойманного на злодействах труса,

Здесь уязвленная амбиция; здесь гнев

Не поспевающего в плутнях мещанина;

Здесь боль, когда его понятий мещанина

Изобличается, окрепнуть не успев!

Он тоже входит в роль — сей вечный тип буржуа!

И за бумажник свой тайком (пари держу я!)

С тревожно-горестною складкою у рта

Тотчас хватается...

Летит кинокартина

На крыльях гения!..

А нувориш — скотина

Однолинейная! — *буквального* шута

В ней видит! А верней — не видит ни шута!

Дожить ж до такой пресыщенности дикой,

Чтобы сквозь жир — игры не чувствовать *великой!*

...Но этот нищий шут (журналы говорят) —
Неужто не слышал?! — не беден,— он богат!
Там, где-то наяву, там, за экраном где-то,
Его плохой костюм и «затрапезный» вид
Не значат ничего! Там, наяву, он сыт!
Но обыватель тверд.
Отныне не смягчит
Ожесточенного безумца ДАЖЕ ЭТО!

Считайте лопнувшим его терпенья трест!
Сбит, больно оскорблен (в тех чувствах, каковые
Считает лучшими!) — бросает он впервые
Преуспеянию... протест!

Как так?! В быту богат, но беден на экране?
Показываться всем без фрака, без пальто?!
Так унижать себя, когда деньга в кармане?
Богат? Что толку в том, раз тратит не на то?!

Зачем стремится он, как нищие, как воры,
Все время оскорблять людей почтенных взоры?
Кой шут, что где-то там он сколько надо ест
И доллары гребет! Зловредина! Всегда ведь
Потратит их на то, чтоб Нищенство прославить!
Ведь как не надоест!

...Нет, с Чарлзом Чаплином вопрос
Давно решенный.
Актер, способностей, конечно, не лишенный,
Но дважды на один нас не подденешь крюк:
Трюк Сострадания — однообразный трюк...
У Чарли вкус дурной и ум заторможенный:
Он в новом ракурсе не мог бы вещь решить.
Такой влиятельный, богатый, знаменитый,—
А ходит,— пыль метет штаниной неподшитой!
Неужто нравится вот так народ смешить?!
Неужто пуговицу некому пришить?!

...Чарлз Чаплин!
Отчего, свой гнев невольный спрятав,
Вам некогда бежать пришлось из вольных Штатов?
Мне кажется, что я (кому открыть секрет?)
И с местных скорняков могла б сорвать личину.
Что нелюбви к нему открыла я причину:
ПЛОХО ОДЕТ!

Есть комики с душой.
 Но, рассуждая строго,
 Прямых учеников у Чаплина немного.
 У многих есть уклон к искусству ранних лет.
 Но к буржуазному той ненависти нет.

Выходят комики в отглаженных манишках.
 Костюм с иголочки на этих шалунишках.
 Но жаль: никто из них настолько не герой,
 Чтобы надеть пиджак или чулок — с дырой!

Уж разве что — по ходу действия — собака
 Или терновый куст рванут за фалду фрака?
 Но в следующий раз той дырки нет как нет:

Достоинство тряпья соблюв, дыру зашили!
 Причем, должна вам сообщить, весьма спешили,
 Дабы не пострадал шута авторитет!

Вот я и думаю: а в самом деле: кто он?
 В кривляньях строгий столь...
 Да точно ль комик он?
 (Простак, но не дурак?
 Остряк?
 Бедняк?
 Колоун?)

Я спрашиваю вас: да точно ли он
Клоун?

Сквозь шутки плоские нередко разглядишь
 На гладком лбу слова: «Сверхчеловек».
«Престиж».

(Престиж, ты мне простишь?
 Нет. Ты мне не простишь)

Ах! Диву я даюсь на клоуна другого;
 Страх — не любящего «достоинство» ронять!
 Быть может, он король в буквальном смысле слова?
 За дерзкий смех при нем, быть может, казнь готова?
 Как знать...
 Навряд ли он и сам успел понять,
 Зачем пришел: карать, грозить или пленять?

Но только не смешить! И с истины покрова,
Как Чаплин, не срывать. (Он не такой дурак!)
Вдобавок он решил, что правда не сурова
И что запас проблем при Чаплине иссяк.

— Бродяга устарел! — вещает он сердито, —
Усилья не нужны. Страдание забыто.
Прочь — ветошь! Я актер устроенного быта, —
Что ж! Если даже так; —
Зачем дыра с такой поспешностью зашита?
Что так расфранчен ваш Гуляка и Простак?
Так расфуфырены Зевака и Растяпа?
Зачем — закованы во что-то вроде драпа,
Во что-то вроде лат
От головы до пят?
Подумаешь: они у вас во ффраках — спят!

Решив огульно так:
При нынешнем достатке
Костюм у клоуна обязан быть в порядке,
Иначе засмеют!

Ах! Сказано не зря: «Кто хочет, тот добьется!»
Оставьте мнительность: никто и не смеется!
Зато за важность вас и за опрятность
Чтут.

Весь в новом — с иголки! — комик пришел
Для аплодисмента ярого...
Жаль! Новое только тогда хорошо,
Когда оно лучше
Старого!

*

Картинку странную я видела в наброске
(Нам дал телеэкран блистательный урок!).
Кончину Чаплина обговорив как мог,
Рассказчик грустно смолк и выставил... «обноски»! —
Тот ффрак! Те башмаки! Ту шляпу-котелок!
Но уж... без Чаплина внутри одежды этой.
Как понимать намек подобный? Посоветуй!
Ты что ж? Художнику забвение предрек?

Он — что? — по-твоему, напрасно жил на свете?
И ты уже решил, что, так как слава — дым,
Пора вывешивать его костюм — пустым?

...Как будто перед тем, как скрыться в темной Лете
И волны над собой сомкнуть навеки,— он
Преаккуратнейше сложил на парапете
Ботинки, шляпу, трость и пару панталон!
Иль,— точно устрицу, художество глотая
И дав нам раковину чуть поосязать,—
«Вы сами видите: она была пустая!» —
Ты нам хотел сказать?

А может быть,— как знать?! — в дозоре
непрестанном

За тряпками; стыду и жанру вопреки,
— Нельзя же,— некие взроптали добряки,—
Позволить гению уйти из жизни рваным!
Такой авторитет и на миру большим,
Чтоб так вот и пошел? Сего стерпеть нельзя нам!
Не все же Чаплином! Уйдите дон Гуаном,
Тартюфом правильно-опрятным и румяным...
Во все добротное одетым торгашом...
Да не держись ты так за бросовое платье!
Ты хочешь... Чаплином остаться?!

Тьфу, проклятье!

Переодеться лень,— ступай, брат, нагишом!
Не так ли и возник — в аспекте неучтивом —
Его пустой костюм пред телеобъективом?
Чей трюк?
Чья логика?

Мне не постичь ее...

Дружище!

Будешь мудр, как следует усвоя,
Что чаплинское,— пусть какое-никакое,
Пусть неказистое и ветхое тряпье —
Не скарб утопленника, а костюм Героя,
Одежда Гения!

Что комик без нее

Уйти никак не мог!

Как, впрочем, и остаться

Он без нее не мог: он в ней и здесь и там!

В ней,— ни в какой другой! — он здесь умел
квитаться

С чумой Просперити!

И если,— по следам

Своим, живым, флюоресцирующим этим,

Блισταющим следам,— случилось бы ему

Вернуться,— вот кого мы «по одежке» встретим,—

Не только «по уму».

*

Лохмотья не всегда есть гардероб неряхи:
То образ бедности. С другой же стороны,
Костюм художника — не панцирь черепахи:
Мы вытряхнуть его из собственной рубахи
Посмертно — не вольны.

Он знал, ЗАЧЕМ отверг одежд великолепье:
Есть честный человек в тряпье, а есть — отребье.
Все просто.
Простоте воззрений — *нет цены*.

Заметь себе и то, что рыцарские латы,
В которых с Пошлостью сражался Дон-Кихот,
Ведь тоже не были ни новы, ни богаты.
Но если он от нас когда-нибудь уйдет,
Он таз цирюльника возьмет с собою тоже!
Нереспектабельно?
Не модно?
Ну так что же?!
Герой не манекен. Земля — не лавка мод.

*

Итак, не диво ли, что (сделав сборы с века
На то, чтоб малых сих никто не обижал)
Не вызывает он уже ни слез, ни смеха
У провозвестников киношного успеха?!

А помню как сейчас: фабричный кинозал
Весь — от рыдающего хохота лежал
На стульях, в общем-то неловких для лежання!
А заполняла зал... фабричная «шпана»!

Так как же объяснить, что именно она
Усвоила сюжет, проникла в содержание,
Пленилась фавулой, героя приняла,
Замысловатую интригу в толк взяла,
Желая Бедняку не краха, а победы?!
Хоть рев сочувствия был малость грубоват.
Чем снобы кислые мне это объяснят?
Чем?! Ведь не ангелы же, не искусствоведы,
Не звезды критики и не профессора
И не теперь — в конце, а в ранней половине

Столетия нашего, — ТОЛПОЙ нашли ключи
К величью гения (потерянные ныне),
И что овации так были горячи!

Нет! Не потеряны ключи!
Ключи найдутся!
Мерси! Давно нашлись.
А если кто надуться
Академическим желает индюком
Или павлином, чей блестящий вид озвучен
Так дурно; если кто решил, что в горле ком
От дивной чаплинской игры — антинаучен, —

Мы скажем: не беда! Тот бедным никогда,
Как видно, не бывал и не знал страданья,
Кого не тронули чужие испытанья,
Чужого мужества святая немота.

...Чарлз Чаплин!
Сказочный герой кино немого!
Вот мим и златоуст, чья немота,
чье слово

Спассти способны свет!
Но всяк ли выслушает рваного такого?
Из грусти сделавшего свой авторитет?

«Буржуйство мерзостно. Несчастья бедных —
драма», —
Хотели вы сказать, надев костюм бродяг.
Но Таз Цирюльника был понят слишком прямо,
И ваш костюм бродяг... был тоже понят так.

Нет! Пусть мне говорят об этом что угодно,
На образ Чаплина взирая свысока:
«Сентиментально», мол, «Нелепо», «Старомодно»,
«В эпоху джаз-машин — свирель из тростника»...

Пусть «назидателем» его считают даже...
Отгыне у меня на все один ответ:
Причина нелюбви к нему одна и та же —
ПЛОХО ОДЕТ!

*

О, славное кино!
Почти невыносимо
Счастливые часы!

Сначала — фильм живьем,
А после — столько слов о «Юности Максима»,
О Шадрине! (Хорош был «Человек с ружьем»!)

«Айгуль»,
«Далекая невеста»,
«Трактористы»...

Все постановщики равно пред нами чисты;
Для нас решительно исчерпанный вопрос,
Что кинозвездочка в простом комбинезоне,
Подобная цветку на парковом газоне,
Подымет целину и выстроит колхоз!

Мы ценим ложный блеск.
Нам, детям, непонятен
Ивана Федорова подвиг.
Что с того?!
Из тех же искр кино, из танца кинопятен
Мы вывод выведем про подвиги его.

Жаль: *искр* понадобится много!
Жаль: не сразу
Родиться из угля бесценному алмазу.
Святой пример других нам, глупым, невдомек.
Но жди: вернется он!
В час творческого рвения,
Как солнце, проблестит из сумерек забвенья
Первопечатника страдальческий урок!

Пойдем опять в кино!
К лягушке Василисе,
К Иван-царевичу...
На древе, слышь, ларец,
В ларце яйцо,
В яйце игла (не уколися!),
В игле — Кашееву бессмертию конец!

А «Ключик золотой»!
А папа Карло! Боже!
А тот смешной момент (для нас он лучший
все же!),

Когда полено расколоть хотел старик,
А из полена вдруг — из самой сердцевины! —
Вдруг... негодующий, пискливый и невинный:
«Что ж вы деретесь-то?!» — летит скрипучий
крик.

Мы знали наперед, что это Буратино,
Что, собственно, с него начнется вся картина!
(Ведь мы второй сеанс уже сидим в кино.
На первом мы уже из зала хохотали,
А тут зашли с кулис...
Та сторона медали,
Все та ж... Но мы до слез хохочем
все равно!)

...В кино!..

Где выпрыгнул из чурки Буратино!
Где ужас и восторг экран объединил!
Где был так страшен Петр, преследующий сына,
Где Сэм Уэллер так сестру мою пленил...
В кино!
Где Кторов (Сэм) так молод был когда-то,
Где смутно помнилось, что все мы «из Кронштадта»,
Где нас в корзину взял свою аэростат,
Где с песней звонкою мы лезем вверх по вантам,
На поиски плывем за капитаном Грантом
И в недрах острова откапываем клад!

Пойдем опять в кино!

Но разве повторится
То зачарованное — с дыркой! — полотно?
Тот запах фабрики и тайны?
Притвориться,
Что все по-прежнему, нам будет мудроно!

И чувство дива нам, боюсь, уже изменит:
Той трусости во мне, той храбрости — в тебе нет,
Ни авантюрного в лопатках холодка...
Уж не вернуть того нам клубного зефира,
Что между стульями разносит вести мира
И, взвившись, прячется в стропилах потолка,

Среди которых мрак, неповторимый тоже
(Как будто в них крутился космос детских лет!).
Той безбилетности и той цыплячьей дрожи,
Тех детских горестей,— смотри! — их больше нет...

Но что за прибыль нам, что есть билет в кармане?
Завклубом честного уж нам не страшен гнев:
Ведь ни по сцене, здесь, ни там — на заднем плане,
Уж не пройдет отец, ключами прозвенев.

Сестра!
Все, все прошло!

Но есть воспоминанья:
Та фабрика, тот клуб, и фильмов тех названья,
И... даже... иногда как будто звон ключей!
Напоминающий нам из далеких далей,
Как залезал песок нам в прорези сандалий
И как в лесу бежал по камушкам ручей...

Отец!
Нам не забыть ключи в руке твоей!
Не зная счастья, но гордый, без печали,
Ты жил в пылу труда и в бедности святой.
Чтоб золотом тоски мы в сердце начертали
Путь безупречный твой.

Глава третья

...Мы уловляли Новый год задолго
До настоящего его явленья
И знали: он же — год и он же — елка!
Привычка к прошлому — и обновленье.
И от занудства будней
Избавленье.

И он же дед, и он же — внука!
Сцена
Открытая — и занавеса тайна...
Да: сам же дерево и сам же — смена
Времен! И в спешке — важность ожиданья.

Когда же на снега, как тени мира
Нездешнего (где всякий дюйм — отшельник!),
Ложились клинья синего сапфира, —
Всю ночь плясал в них искр алмазный пчельник!

Через сугробов дюны, гребни, створки —
Взбирались искры ломким хороводом...
Был ярче запах мандаринной корки,
Мороз был резче перед Новым годом.

И даже завихрения поземки
Вечерней (ох, совсем отмерз мизинец!)

Похожи были чем-то на тесемки
Мешков, откуда сыплется гостинец.

Вот-вот — казалось нам — земли коснутся
Иных планет, блиставших беззакатно,
Витки и сферы...
Хоры звезд проснутся...

Но убеждались мы неоднократно,
Что не должны к нам звезды приближаться:
Став ближе, время шутит, как лабазник.
И чем тесней года на след ложатся,
Тем дальше Новый год от нас, — как праздник.

Но с детства недосмотренными снами
Не разлучиться нам ни в миг единый,
Ни в век единый!
Пусть уже не с нами,
Но *повторятся* старые картины!

Пусть корки мандариновой дыханье
Прольется!
Пусть не брезгает так часто
Землей (как будто кухонной лоханью!)
Снежинка,
Мягкопера и глазаста!

Пусть тот морозный, хвойный, мандаринный
И снежный дух пронижет той же сказкой
Двух девочек на фабрике старинной,
На фабрике старинной, шелкоткацкой!

И — даже не звезда, а целый Млечный
Путь, полный звезд! (еще до привыканья —
Давно своих!) — пускай, Бродяга вечный,
Опять пленит нас Чаплин безупречный,
Непостижимый ЧЕЛОВЕК-МЕЛЬКАНЬЕ!

...И мы уехали.
Считаю справедливым
Свидетельствовать: наш фабричный клубный срок
Для нас остался сном. Сном, более счастливым,
Чем кто-нибудь из нас тогда предвидеть мог.

СОДЕРЖАНИЕ

С. Чупринин. «Республика грез» Новеллы Матвеевой 3

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

ЛИРИКА (1957—1959)

Наш герб (На запуск ракеты с советским вымпелом на Луну)	13
Ночь на 14 сентября 1959 года	14
«Завидую далеким временам...»	15
Рембрандт	16
Дым	19
Мера за меру (Из прошлого Чукотки)	20
«Охотское море волною гремит...»	23
Памяти Пришвина	24
Архивариус	25
Песня	
I. «Как сложилась песня у меня?..»	27
II. Музыка	27
III. Натюрморт	27
Гимн перцу	28
Алоэ	30
Мумия	31
Старые листья	33
Выселение из вселенной (Поэма)	34

КОРАБЛИК (1960—1962)

I

Какой большой ветер!	38
Дома без крыш (Украина)	40
«Там, где кончается город...»	42
Дирижабль	44
«Под прошлогоднею листвою...»	46
«Все сказано на свете...»	47
Художники	50
Блуждающий огонек	52
Сон	53
Попугай	56
Индийская песня	58

II

«Пастух по стаду выстрелил кнутом...»	60
Лето	61
«Есть и у капусты...»	62
Жду снега	63
Зима	64
Роберт Фрост	66
«В лощинах снег, слоистый, как слюда...»	68
Ах, как долго едем...	69

III

Лилия	70
Дубрава	71
В детстве	72
«Есть путешественник...»	73
Лодка	75
«Прилива плеск...»	76
Янтарь	78
Кораблик	80
Горизонт	82
Песня с пингвинами	83
Братья капитаны	85
Маяк	87

ДУША ВЕЩЕЙ (1963—1965)

I

Песня в песне	88
Отголосок	90
Древесина	92

Страна детства	94
Мосты	96
Совершенство	98
Песни Киплингa	99
Водосточные трубы	102
Дорога	104
Следы	106

II

Медленная весна	108
«Как дрожит на ветреном закате...»	109
Король пепла	110
«Не пиши, не пиши, не печатай...»	112
Гипноз	113
Ночная песня	117
«Что-то не знаю...»	119
Степь	120
«Снег выпал...»	122
Шарманщик	123

III

Душа вещей	125
Старинное слово	126
«Мы только женщины...»	127
Соломинка	128
Реквизит одного поэта	129
Штамп	130
Мороз	131
Лунная ночь	132
Жемчужина	133
«Пробрезжил красным листик темной зелени...»	134

IV

Радость	135
Роберт Берпс	136
«Баклажаны бока отлежали...»	139
«Дворник листья неохотно ворошит...»	140
«Прошел, прошел...»	141
Рыжая девочка	142
Водопад	144
Пингвин	146
Рыбачка	147
Караван	149
Фокусник	151

«Осень. Тишина в поселке дачном...»	152
«Река текла как дождь...»	153
Кувшинка	154
Лес	155
Еж	156

ЛАСТОЧКИНА ШКОЛА (1966—1972)

Огонь вдалеке

Дождя так и не было...	157
Зеленый дождь	159
После дождя	161
«Цвел ли, не цвел ли в низине жасмин...»	162
Ласточкина школа	163
Окно	166
Речь в защиту мыльных пузырей	168
Поэт	170
Световая бочка	171
Солнце осеннее	173

Веселье живописи

Иней	175
Пейзаж-посылка	176
«Возле ольхи высокой...»	178

Веселье живописи

I. «Кисть весела, и живопись красна...»	179
II. Краски и мысли	179
III. Видение	180
IV. Лоза вдали	180
«За санаторием, что скован «мертвым часом»...»	182

Жизнь и книга

I. «Философы, вникающие в суть!...»	183
II. «Я не с листа писала на листок...»	183
III. «Живой да будет каждая строка!...»	184
Сию же минуту проверить веками	185
«Весной, весной...»	186

Перья для стрел

Конец авантюризма

I. Сумерки грехов	188
II. Крах авантюризма	189
«Кудри, поднятые ветром...»	190
«Что значит «мещанин» — как следует не ясно...»	192

Акула	193
Греция	194
Песня свободы	197
Мечта о недруге	198
Чужой	199
На пороге ночи	200
Пестрый ларчик	
«Определенья поэзии нет...»	202
Переводчик	204
Баллада круга	205
Познание	
I. Страх познания	207
II. Очертя голову	207
III. Как это сделано?	208
Рожь	209
Ошибки зависти	210
Подземелья	211
Лики льда	212
Пестрый ларчик	214
Аргус	
1. «Глупцы, пускаясь в авантюру...»	217
2. На поэта, пинающего собаку	217
3. «Если в сочинительстве любом...»	218
4. Обратное превращение	218
5. «Поэзия должна быть глуповата...»	219
6. Аргус	219
Шпалы	220
Человек	223
Питер Брейгель-старший (<i>Поэма</i>)	225

РЕКА (1972—1976)

Бегство деревьев	233
«Рассветные звезды гаснут...»	234
Прогулка	236
«После падения зноя...»	238
Душистый Горошек	239
Ходьба	241
К музе комедии	242
«Днем прохладным душного лета...»	244
Долина ручья	245
Ивы	247
Две березы	249
Река	251

Следопыт	252
«То цельная, то — на четыре потока...»	256
«Над красным ущельем нависли деревья седые...»	258
Змеелов	259
«То не дорога, не шлях...»	261
Кино	263
«Как радужный дурман горячего болота...»	266
«Ночь. Отовсюду раскрылись...»	267
Страсть к полезному	268
Предвечернее	269
Стихотерапия	
I.	270
II.	271
III.	272
Пятнистый свет	274
Подвиг птиц	275
Сорванный хорал	277
Напев	279
Отражения	281
Снегопад	283
Ода кляксе	
I.	284
II.	285
III.	286
«Ветровой, подарочно-упаковочный...»	288
Космонавт	290
Старинные корабли	291
Нерасторжимый круг	293
Перевернутый сад	294
Лунный свет	296
Береза	297
Трюизмы	299
Немецкие сказки	300
Слой	301
Подпись за мир	302
Зной в лесу	304
Уступка равнине	305
Вечер	306
Темные стороны блеска	307
Тремоло	310
Скрипка сумерек	311
Фальшивая нота	312
Восход луны	313
Диски	315
Листопад	316

«Поворотилась на тихой оси планета...»	317
Пушкин	319
Эдгар По	320
«Снисходительный гром потеплений...»	321
«Прозорливые»	322
Недоразумение	323
Саморугание	324
Из письма шестнадцатого века	325
«Старый берег, туманом заваленный...»	326
Облака	327
Луна	329
«Размеренно, неизменно...»	330

ЗАКОН ПЕСЕН (1976—1980)

I

«Полетел сереброкрылый «ТУ»...»	331
Поступь света	332
Закон песен	334
Кружатся листья...	336
О юморе	338
Вечный всадник	340
Отраженным светом...	344
Подсолнух	345
Поэты	346
«Есть вопиющий быт...»	348
«Снег выпал ночью и растаял днем...»	349

II

Бездомный домовый	350
Заклинательница змей	352
«Восток, прошедший чрез воображение...»	353
Экзотика	354
Корабельный рай (<i>Сказка</i>)	357
«Липа зацвела у перекрестка...»	359
Песнь о «Летучем Голландце»	361
В краю снегов	363
Мой Бодлер	364
Цыганка	365
Предрассудки	367
«В поэтах числиться и никогда заборным...»	368
Крысы	369
Страх лесов	370
Меланхолия	373
Прогулка на Загорянку	374

III

Госпиталь	375
В начале войны	377
Хома Брут	380
«После тягости, сокрушения...»	383
«Мимозы вырастают из песка...»	384
«Волны бегут...»	385
Трясогузка	386
«Глухой зимы коснеющий триумф...»	387
«Словно рукоделие Герды пустынное...»	388
Хиппиоты	389
Жорж Санд	392
Старинный бродяга	393
Осенний этюдник	394
Залоги пейзажей	396
В марте	398
Добряк	400
«Дерево, и камень, и железо...»	401
Золото проектов (<i>Поэма</i>)	403
Роци взгляда (<i>Поэма</i>)	418

ИЗ РАЗНЫХ ТЕТРАДЕЙ (1960—1984)

Снегирь	429
«В тиши весенней...»	430
«Вот уж, кажется, десятки...»	432
«Нам хочется чудес...»	433
Чудодей	434
Звезда	436
«Кто вас приводит с окружающих гор...»	437
Девушка из харчевни	439
«Не серая стая сов...»	441
«Кастальский ключ проник во все проемы...»	443
Война воды и леса	444
Галчонок	447
Россия	448
Скворушка	450
Было тихо...	451
Кроличья деревня	452
Премудрая мышь	454
Пони	456
«Ночь. Волны прибрежные черны...»	459
Учитель	461

СТРАНА ПРИВОЯ (1978—1980)

Бобры	463
Хвощ	464
Цветы	465
Осенняя жара	467
Плакальщица	468
Долина реки	469
Сороковые годы	471
Круги чтения	473
Песенка про почтальона	474
Что подсказал иней...	476
Песнь о жемчуге	477
Сонеты Лэму	481
«Зима сверкает ослепительно...»	484
Цветок багульника	486
Мост на Янцзы	488
Мое отношение	489
Песнь о далекой дали	492
Подмастерье	493
Цветок	495
Жан-Поль	496
Солнечный Зайчик	498
Ключи от клуба (Поэма)	500

Матвеева Н. Н.

М33 Избранное: Стихотворения; Поэмы / Вступ. статья
С. Чуприна. — М.: Худож. лит., 1986. — 535 с., портр.

В «Избранное» известной советской поэтессы Новеллы Матвеевой вошли стихотворения и поэмы из книг «Кораблик», «Душа вещей», «Ласточкина школа», «Закон песен» и других, написанные более чем за двадцать пять лет литературной работы.

М 4702010200-121 72-86
028(01)-86

ББК 84Р7

Новелла Николаевна

МАТВЕЕВА

ИЗБРАННОЕ

Редактор О. Дворцова

Художественный редактор С. Гераскевич

Технический редактор Л. Платонова

Корректоры Г. Володина, Т. Горбунова

ИБ № 4049

Сдано в набор 07.06.85. Подписано в печать 03.01.86. А10503.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,14+1 вкл.=28,19.
Усл. кр.-отг. 28,4. Уч.-изд. л. 20,36+1 вкл.=20,41. Тираж
25 000 экз. Изд. № III-4696. Заказ № 5-200. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Васманная, 19.

Киевская книжная фабрика «Жовтень».
252053, Киев-53, ул. Артема, 25.



